



Елена Крюкова
Изгнание из рая

«Автор»

2000

Крюкова Е. Н.

Изгнание из рая / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2000

Он приехал в столицу из Сибири – молодой, талантливый, жадный до жизни художник Дмитрий Морозов. Он, нищий самоучка, стремится к роскошной жизни, мечтает о богатстве и славе. Встреча на Старом Арбате с таинственной красавицей, рыжеволосой бестией с дьявольским огнем в зеленых глазах круто меняет его жизнь. Кто эта женщина? Дмитрий не знает. Но теперь она все время будет стоять за его плечом и дирижировать его поступками. Митя становится на путь соблазна. Деньги текут к нему рекой. Все наслаждения мира падают к ногам вчерашнего неудачника. Но цена этому – череда обманутых, ограбленных, уничтоженных людей. Дьявол хитер, и за свои услуги он берет непомерно большую плату. Здесь, в романе Крюковой, впервые дьявол – женщина. У нее тысячи лживых имен. Но Митя не может разгадать, понять, кто она. Эмиль Дьяконов, богач и мафиозо, берет Дмитрия в семью, приближает его к себе. К Мите в руки попадает картина Тенирса – «Изгнание из рая». Эту картину дорого покупает жена японского миллионера, влюбившаяся в Митю. Анна Канда погибает от его руки – лишь потому, что он, получив деньги, захотел ВЕРНУТЬ СЕБЕ картину. Вернее, так захотел дьявол, стоящий за его плечом... По роману Елены Крюковой (Елены Благовой) «Изгнание из Рая» в настоящее время началась работа над полнометражным художественным фильмом.

© Крюкова Е. Н., 2000

© Автор, 2000

Содержание

КРУГ ПЕРВЫЙ. КРАЖА	8
КРУГ ВТОРОЙ. ИГРА	44
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Елена Крюкова (Благова)

Изгнание из рая

*Моему мужу, художнику Владимиру Фуфачеву –
отныне и навсегда*

*"Горе вам, богатые! Ибо вы уже
получили свое утешение".*

Евангелие от Луки, 6, стих 25.

Огни вспыхивали в черно-синем мраке вечера – рекламы, фонари, тревожащие, мелькающие мимо машинные фары. Он шел по старому Арбату, высокий, длинный, худой, как жердь, чуть переваливаясь с боку на бок. Он устал. Он сильно устал. А у него опять ничего не купили. Проклятье. Он зажимал под мышкой стопу маленьких холстиков, еще мокрых, непросохших. Кому нужна его великая живопись? Да никому. И даже Господу Богу, наверно, не нужна.

Он шел мимо Центра грузинской культуры, мимо бронзовых Пушкина и Натали, взявшихся за руки, как дети, мимо галереи «Арбат, 34», где у него не взяли на вернисаж ни одной работы, послали его куда подальше, недоучку, дилетанта, мимо ювелирной лавки, где продавались только дорогостоящие кольца, броши и ожерелья – наверно, для господ и дам с Марса и Венеры, уж больно неземными были цифры цен с количеством нулей, неподвластных счету, – мимо театра имени Вахтангова, где он ни разу не был ни на каком спектакле, это все, спектакли, концерты, вернисажи, было only for white, – а там, впереди, в двух шагах, тепло мерцало заманчиво-уютное кафе, где он иногда, очень редко, обедал, если ему везло и он продавал на Арбате картинку, – но сегодня ему не повезло, и он готов был тихо подвывать от тоски. Куда удрать от тоски? Ну да, к Иезавели. Он к ней и пойдет.

Он время от времени спал с девушкой по прозвищу Иезавель, а как ее звали по-настоящему, не знал никто, и он тоже.

От арбатских огней рябило в глазах, и он зажмурился. Когда он опять открыл глаза и покосился в сторону, он увидел, что рядом с ним шла женщина. Он даже чуть приоткрыл рот от изумленья – женщина, что шла рядом с ним, нога в ногу, такт в такт его шагу, была так дьявольски, невероятно красива, что у него захлестнуло дыханье. Минуту, две они шли молча рядом друг с другом. Он косился на нее восхищенно, стараясь незаметно рассмотреть ее всю. Он тихо и смущенно рассматривал ее всю – с головы до ног – и не мог сдержать восторга. Такую красоту он, художник, видел впервые.

Она шла молча, гордо вскинув рыжекосую голову, тоже исподтишка косясь на него зеленым, как виноградина, глазом. Он видел совсем близко персиковый пушок ее щеки. Густые рыжие, чуть вьющиеся волосы женщины были заплетены в тяжелые косы и заколоты на затылке. Шел мягкий медленный снег, ветра не было; она была без шапки, без платка, и стоячий воротник короткой норковой шубки слабо защищал от вечернего холода тонкую нежную шею. Он внезапно захотел укутать эту шею в мех и пух, покрыть поцелуями. Она резко остановилась, посмотрела на него. Недоумевая, встал и он, не зная, куда девать холсты, торчащие под мышкой.

– Простите, – хрипло сказал он. – Кто вы?.. Вы идете за мной от театра Вахтангова...

– Это ты идешь за мной, – сказала она низким и обволакивающим голосом, обдавая его зеленым огнем широко расставленных глаз. Ее глаза, большие, изумрудные, светящиеся, как у кошки, словно купались в искристом сладком масле. Опасно было глядеть в них. На незнакомке не было и следа косметики. Ее губы горели природной яркостью. Ее глаза не были подведены. На ее щеках играл натуральный морозный румянец. Такими женщины выходят или из хорошей бани, или поднимаются с ложа любви.

– Как... но я же... – смешался он. – Ну, пусть я, – внезапно согласился. С красавицами всегда соглашаются. – Кто вы?!

Вопрос вырвался из глотки сам собой и был вполне разумен. Сейчас незнакомка станет знакомкой, они познакомятся, разговоятся, поболтают, будут идти дальше по Арбату, а потом и по проспекту – или по бульвару – вместе, непринужденно болтая, и все встанет на свои места. И, может быть... Ничего не может быть. Ты же не можешь пригласить красивую, одетую с иголочки девушку, роскошную московскую даму даже на чашку кофе в уличную кофейню. У тебя нет ни гроша. Ни гроша!

– Я Дьявол, – совершенно спокойно ответила она, стоя прямо и гордо, огненными зелеными глазами глядя на него.

Он мотнул головой. Потом расхохотался. Прижал локтем к себе холсты, чтоб не свалились на мостовую.

– У вас отличное чувство юмора. Я хотел спросить... как вас зовут?.. меня...

– Я знаю, как тебя зовут, – сказала она, и снова его до костей пронизало горячее вибрато ее низкого голоса. – Я и не думаю шутить. Я выбрала на этот раз тебя, мальчик. Почему ты не сводишь с меня глаз?.. Нравлюсь, да?..

Между их лиц медленно падал снег. Она обдавала его жаром опасных глаз, приближая к нему лицо. Он невольно отпрянул.

– Боишься?.. – Ее губы мазнула усмешка. – Правильно, бойся.

Его опять резануло это неведомое «ты».

– Откуда вы... меня знаете?.. я с вами нигде не встречался... нигде...

– А ты вспомни, мальчик, – певуче протянула она, продела руку ему под руку и уцепила его за локоть, и повела, потянула за собой, и они опять пошли по арбатской скользкой мостовой, нога в ногу, вперед. Огни брызгали им в лица с обеих сторон арбатской реки. – Припомни хорошенько. Дырявая же память твоя. Но сильно не притворяйся. У тебя голова молодая, смышленная, не то что моя, тысячелетняя, может быть, ты и вспомнишь.

Она оборачивала к нему румяное, пышущее здоровьем и красотой молодое лицо; она просто весело смеялась над ним. Смеялась! И он это видел.

По левую руку замаячил ресторан. Он еле слышно вздохнул.

– Да, да, – сказала зеленоглазая дама насмешливо, – у тебя нет денег, и ты не можешь пригласить меня не то что в «Прагу» – в дешевую кофейную забегаловку, не так ли?..

– Вы действительно Дьявол, – с трудом выдавил он, – так, может быть, Дьявол так богат, что он меня самого пригласит?..

– А что, и повадки альфонса в тебе уже имеются, хвалю, я так и думала, – отрезала она, сверкнув глазами. Он увидел, как блеснула в ее мочке изумрудная чечевица. – Так ты не вспомнил, бедняжка?..

Они вышли на Арбатскую площадь, и она держала его под руку. Красная китайская пагода станции «Арбатской»-маленькой просвечивала сквозь снегопад. С ресторанного балкона доносились возгласы и песни – богатый народец гулял, веселился. В подземном переходе пенье ресторанных завсегдатаев слушали угрюмые старухи, держащие на руках котят и щенков на продажу. Троллейбусы шуршали шинами по сырому асфальту. Машины неслись по проспекту как оглашенные.

– Нет, – беспомощно боднул он воздух. Старая кепка, подаренная ему другом-дворником, упала в снег. Рыжекосая красавица нагнулась и подняла ее. Усмешка не сходила с ее ярко-губого красного рта. Глаза ее сияли.

– Хочешь, я докажу тебе, что я Дьявол? – спокойно спросила она, держа его кепку в руках. На миг он подумал: она – сумасшедшая. Ее надо на Канатчикову дачу.

– Нет, я не сумасшедшая, – сказала она так же спокойно и радостно, глядя ему в глаза. Нахлобучила кепку ему на затылок. – Видишь, идет машина?.. Вон тот белый «форд»?..

– Вижу, – еще ничего не понимая, кивнул он.

– Смотри, – холодно проронила она, и ее голос из теплого и радостного сделался ледяным, как пронизывающий северный ветер. – Хочешь, я сделаю так, что сейчас он резко свернет влево и врежется в троллейбус?..

– Не надо!.. – запоздало крикнул он. Рыжекосая женщина вскинула голову. Ее зеленые глаза вонзились в юркий белый «фордик», мчавшийся по автостраде. «Фордик» так резко забрал влево, что прохожие на Новом Арбате ахнули и завизжали, видя, как на полном ходу «форд» врезался в летящий по проспекту троллейбус. Машины, едущие следом за «фордиком», не успели затормозить. Все смешалось в страшную железную кучу – бамперы, карданы, колеса, крики несчастных, отлетевшие двери, визги тормозов, мужицкая крепкая ругань. Вынырнувшие из толпы милиционеры вытаскивали из злополучного искалеченного «фордика» кровавое месиво вместо человеческих тел. Оглушительные гудки разносились по всему Новому Арбату. Люди повысыпали из магазинов, из кафе, из офисов. Пенье на балконе ресторана прекратилось. Фонари бесстрастно освещали человеческую трагедию.

– Смерть – это часть жизни, не правда ли, милый, – фамильярно сказала зеленоглазая красавица, измеряя его горящим взглядом. – Смотри, как они все суетятся. Как мошкара. Как муравьи. И это все тоже жизнь. А для кого-то она уже закончилась. Ты должен хорошо понять это. Ты скоро поймешь это. Лучше всех.

Он, не сводя с нее глаз, глядел на нее. Губы его побелели. Холсты чуть не вывалились у него из-под локтя.

– Как ты... это сделала?.. – Он не заметил, как перешел с ней на «ты».

Она не ответила. Протянула руку в белой лайковой перчатке. Похлопала его по щеке. Он ощутил кожей небритой щеки холодную гладкость лайки.

– Люди в жизни всегда или преступники, или свидетели, – жестко сказала она, и ее глаза из ярко-зеленых сделались темными, почти черными. – Сейчас ты свидетель. У тебя все еще впереди. Смотри, какой смешной мент!.. у него глаз перевязан, как у пирата... братки подбили, чистая работа...

Он уставился на одноглазого, как Джон Сильвер, с черной повязкой через все лицо, милиционера, спешащего к перевернутой машине; милиционер не успел подойти – машина загорелась, пламя вылетело из разбитых окон, взрыв поглотил стальной остов и сбил с ног, опалил людей, подобранных слишком близко. Новые крики сотрясли ночную тьму. Уши просверливали милицейские свистки.

Когда он обернулся, никого не было рядом с ним.

Рыжекосая женщина с кошачьими глазами растаяла в огнеглазой московской тьме, как не бывала.

КРУГ ПЕРВЫЙ. КРАЖА

– Ты мазила и писака.

Иезавель сидела по-восточному, по-буддийски, в позе цветка, недвижимо. Смоляные пряди мертвыми ужасами спадали на голые плечи. Яблоки плеч просвечивали сквозь черноту нежно, сладко. Хотелось укунить. Застылое спокойствие Иезавели потрясло. Над пчелиным чудовищным дворцом ужасающего бессмысленным гуденьем города, что звался Москвой, огромного, глупого города, завис яркий от тысяч резких огней вечер, переходящий в ночь. Эта девушка, Иезавель, – что она делала тут?.. Что делал тут он?.. Она была у себя дома. Она сидела на голом дощатом, сиротском полу в торжественной позе лотоса, занималась своей красивой древней магией, а попутно беседовала с ним. О чем?.. Она его ругала, это так. Он это понимал. Чужая – краем сознания. Весь он состоял сейчас из дрожи, из легкой восточной дрожи, незримой веревкой привязывающей одно земное тело к другому.

И кто такой он был?.. Он приехал в Москву из далекой Сибири. Он появился на свет в заброшенном в снежных степях южносибирском городишке – зачем родила его мать?.. Затем же, зачем всех людей рожают матери на свет: для страдания и борьбы. Он жил в городишке, ел скудную еду, пил чай и водку, обнимал разных скучных девушек, с ужасом думал: вот для этого я появился в мире?.. Он брал в руки лист бумаги, карандаш, пытался зарисовать мир. Мир не давался ему. Мир ускользал. Будущее ускользало. Он решил победить мир и будущее. Он решил вырваться из черной ямы, что разевала пасть совсем близко. Он однажды собрал манатки и поехал в Москву – а вагон был плацкартный, голый, пропахший салом и жареными курами, и бедные люди в плацкарте вечерами, пока он ехал из Сибири на Запад, пели протяжные песни и резались в карты; и ему было нечего есть, и он жадно глядел на жующих дорожный кусок людей.

Он приехал в Москву бедный, пустой и веселый. Он не захватил с собой из Сибири даже своих нищих, дрожащих на ветру рисунков. С Ярославского вокзала он побрел неведомо куда. У него не было ни одного друга в Москве. Ни одного приятеля. Он встал около колонны, подпиравшей вход в метро, закурил, и тут к нему подошел раскосый и курчавый парень и внезапно протянул ему пирожок с капустой. Видно, сильно щеки ввалились у него, и прохожий его пожалел. «Ешь!» – жестко сказал парень. Это был дворник Флюр из Столешикова переулка, бывший солдат, татарин и добрый человек. «Тебя как звать?..» – «Митя». – «Пойдем к нам жить, Митя. Я вижу, ты не москвич. Я тебя устрою в РЭУ без прописки, по благу».

Он, нищий дворник, житель труппной коммуналки, хоть и в самом сердце бешеной Москвы, без прописки, без надежды, ни кола, ни двора. Кто он был такой, чтоб оспаривать у неба это жалкое место на земле, рядом с этой красивой женщиной, длинноволосой и раскосой, медленно и холодно ругающей его, сидя, скрючив ноги, на полу?.. Сейчас она помедитирует вдосталь, нахохочется над ним всласть, встанет – как камень выметнут из пращи, – проилепает на кухню, отрежет ему ломоть ржаного кислого хлеба да и выгонит с Богом. «Иди, иди вон. Иди вон, пес. Не нужен ты мне. Я тантристка. Я царица. А ты дурак, мазила, писака. Ты нищий голодный пес. Ешь и уваливай!» Все всегда жалели его. Кормили его.

– Иезавель, Иезавель. Ну что ты. Ну зачем ты. Ну как ты можешь, – невнятно бормотал он, и ледяным потом покрывалась его узкая, длинная рыбаья спина. – Милая Иезавель... ты ко мне несправедлива. Ведь все... – он облизнул пересохишие губы, – все, ты знаешь, происходит внутри меня. Все, что снаружи, детская дурь. Человек не есть то, что он делает, потея, каждый день. Человек не есть его доски, посуды, шкафы, тряпки, дети-плети... холсты... да, и холсты тоже! – крикнул он и задохнулся. – Человек – это то, Иезавель, что внутри! Внутри. – Он перевел дух. Плечи его поднялись углами; из ссутуленной спины дощато выперли лопатки. – Нам не принадлежит ничто, дура. Ничто вокруг нас нам не принадлежит. Ни

стены домов, где мы плачем и бьемся... ни вещи, ни книги, ни родители и наследники. Никто и ничто. Нам принадлежит только то, что у нас в голове и в сердце. Слышишь?!

Лук усмешки Иезавели выгнулся, тетива натянулась. Все, что говорит этот бедный мальчик, – не мудрость, нет. Он думает наивно, что он дошел до мудрости. Он-то не знает, что до мудрости дошла она. И то не до Небесной, а лишь до той, что лежит рядом, на грязной земле. На полу. Около ее вывернутых голых пяток.

Она обвела глазами, не поворачивая головы, увешанные дикими яркими картинами стены. Стены скалились картинами, смеялись. Картины вызывали на бой жалкого человечка. Картины, глумясь, кричали беззвучно: «Ну, поди, поди, оставь себя! Ну, если сможешь, не умри! А то, глядишь, весь умрешь! Весь! До капли, до жалкой крохи!»

– Мальчик, – медленно сжеженный голос Иезавели капал с губ, меж сцепленных зубов, – это все ты сам написал?

Будто она не знает, противная баба. Это все ей подарки. Ей. Моими руками. Вот этими пальцами. Когда уставал, кисть брал в зубы. Мне казалось, что я слон, окунаю хобот в краску и веселюсь, бью по холсту бессмысленно и радостно. Я сходил тогда с ума. Я хотел есть. Просто хотел есть. Жрать! И мне надо было продать картину, чтобы купить себе поесть. Но я сходил с ума оттого, что я писал ее. Я готов был целовать влажную краску, текущую у меня из-под ногтей по холсту. А она: са-ам написал?!.. Кокетка. Палачиха.

– Мальчик, – Иезавель погладила свое голое колено, – иди сюда. Сожги свои краски в печке. У меня хороший камин. Видишь, вот здесь, в стене. Я его сама сделала. Я стену разбила ломом. Там дымоход. Старый. Пржежих веков. Огонь вытянет все. Все выйдет наружу дымом. Все! Прах и тлен. – Она усмехнулась, раздвинула ноги; навзничь, разметав спутанные волосы, легла на пол. – Картины тоже можешь сжечь. Они мне не нужны. Ты зря старался, дарил. Думал меня купить. Меня! – Крик сотряс комнату. Иезавель выгнулась, локти вонзились в доски, шея закинулась журавлино в судороге гнева. – Иди ко мне! Боишься! Трус! Сегодня я хочу! Я! А не ты! Ты – никогда! Только я!

Тишина лизнула нежным языком воздух. Стало слышно, как шоркают и хрюкают часы. Большой медный маятник круглой Луной метался в стеклянном ящике – от прилива до отлива.

– ...не медли, – услышал он тягучий шепот. – Все может оказаться последним. Воздух накалился. Я чувствую жарь и дым. Лошади. Лошади. Бегут лошади. Иди.

За стенами люди кричали, шептали, били, любили друг друга. Людской муравейник кишел и гудел, шуршала хрупкая бумага лихолетий. Война ли, мир?.. – он видел лишь женщину, вольно раскинувшуюся на ледяном полу. Древняя лягушка, белый женский тритон. Ее он писал. Много раз. И обнаженной. И одетой. И укутанной в шубу. И скрючившей ноги в потуге, будто бы в родах. И с натуры. И по памяти. Однажды себе руку разрезал, макал туда палец свой и водил кровавым пальцем по холсту, малевал Иезавель свою кровью. Кровь засохла и превратилась из яркого краплака в сумрачную тусклую охру. Так гаснет звезда Чагирь, и медленно замерзают ее планеты.

Он пополз к ней, извиваясь, по полу. Подтягивался на локтях. Горбил спину. Его узкое, длинное тело гудело. Женщина ждала его, смеясь, лежа навзничь на полу. Пока он полз к ней, он зацепился длинными нестриженными волосами за гвоздь, торчащий из доски. Скривил рот от боли. Схватил прядь в кулак, рванул.

Женщина лежала и ждала.

«Сжечь. Сжечь, говоришь, в камине. Да лучше я тебя сожгу. Да лучше я... себя сожгу. Картины. Мои картины. Мои руки! Мои ноги! Меня сожгут и в мои же холсты и завернут. А ты, бурятская пантера...»

Совсем рядом. Вот она. Упасть сверху. Наброситься. Наколоть ее, ледяную форелину, на себя-гарпун. Заполнить ее, пустой кувшин. Смять и сломать ее. Посмела посягнуть на святое. Плюнула в колодец жизни. Ах, зверь!

Он навалился на нее всей тяжестью тела, длинного, как жизнь. Притиснул ее к полу. Подождал, пока она застонет, запросит пощады. Молчанье. Ее молчанье обняло его, закружило. Выступом колена он расчленил на две рвущиеся половины ее горячее естество. Ему показалось – он сунул живот в огонь. Она не смогла защититься. Она чувствовала себя раковинной-беззубкой, внутри которой растет и тлеет жемчужина. Теплый жемчуг, утлый и розовый, бесполезный, как ветер, как слеза. Под его ладонью оказалось круглое, мягкое – ее грудь. Он сцепил мягкость в пальцах, укусил подковой зубов. Иезавель дрожала. И он дрожал. Он обнимал ее. Его мучила жажда. Его мучил страх. Он боялся своего желанья. Слишком непомерным оно казалось ему.

Нищий малеванец, малярчик, мазилка. Без угла, без роду, без племени. Нет, где-то он все-таки жил. В старом доме напротив, там, где жили дворники; и он, должно быть, дворничал тоже, у него не было другого выхода. Никто никогда не знал, как его зовут. Даже она долго не знала его имени. Он не говорил. «Иезавель, к тебе опять художник пришел!» – орали ей соседи, когда она, накачанная сладким дешевым вином и бурятскими наркотическими шариками, вызывающими виденья, спала и не слышала звонка, и крик разносился далеко по коридору огромной – пятнадцать квартир – московской коммуналки. Иезавель, к тебе Художник. Художник к тебе, Иезавель. Ну и Художник у тебя, Иезавель! Опять идет. Как муха на мед. Как кот на сметану. Отвадила бы ты его, что ли. Надоел.

И холст несет под мышкой снова. Утомил. Дар, цветастый, черный, серебристый дар. Еще не высохший, пачкает. Разномастный. И что изображено, не понять. Соседки приходят, не остывши от кухонного масла, и гадают, что это, с чем это едят. Водят в воздухе пальцами. Фантазируют.

Нищий, нищий. И звать его Дмитрий. На что краски покупает, неведомо. Видно, кроме нее, у него есть еще любовницы. Богатые. И они его голубят. И он пишет их сладенькие портретики. И тоже дарит. У, отребье. И вдруг сегодня она сама возжелала его. Сила скрутила ее, поборолла. Она хотела застонать от счастья, чужа его тяжесть, расплющиваясь под ним, но закусила губу, зубы крепко сомкнула. Счастье нельзя выдавать. Его нельзя выпускать наружу. Оно – сумасшествие. Его должно быть стыдно. От него пытаются вылечить.

Тело здесь горячее, там холодное. Это удивительно. Разной теплоты куски дрожащих тел накладываются друг на друга, наслаиваются. Кладутся лессировки. Плывет и плачет краска. Яркий кармин, веселый краплак, горький перечный сурик, осенняя охра. Они сползают по холсту, высыхают, вспыхивают, взрываются, слезают слоями, как отболевшая, сгоревшая кожа. «Тихо, тихо, не спеши. Никогда не спеши. Не дрожи, ты мне мешаешь». Она бы могла пересчитать его ребра. Они жестокие, они гудят. И весь он гудит, как пещера, в которую бросили камень. Так гудит медведь, когда он в берлоге переворачивается с боку на бок. А вокруг зима. Жестокая, гулкая зима, где только снег гудит. Боже, сколько гула в мире. Уши зажать руками. Не слышать. Не видеть. Не чуют ничего. И не говорить. Она что-то шепчет. У нее горячая грудь, твердые соски. Может быть, она медведица. Или пантера. Или лошадь. Кобыла. Она все время бормочет что-то про лошадей. Когда они расстанутся, он нарисует лошадь. Вороную лошадь с белой грудью.

– Иезавель!

– Пусти... пусти.

Это значит: «Сильнее... сильнее». Еще удар. Еще. Кисть гудит. Холст гудит и прогибается. Летят холодные и горячие краски. Борются, лепят друг друга. На пустынном запястье женищины горит тяжелый медный браслет. Ее рука закинута, и он кусает браслет, хватая зубами. Он умирает. Для художника важна смерть на холсте, во вспыхе краски. А живая

жизнь слишком груба и серьезна. Каждый раз, умирая, он познает, что такое страсть. И, отскрипев зубами, забывает. Потом – забывает все.

На пустую, мертвую холстину льются, выбухнув из тьмы, водопады красок. Горячая лава. Галактические молоки. Огненная икра. Его бросили в жерло кратера, и он плавится. Он пытается помянуть Бога, но губы не слушаются его. Его больше нет. Есть горячая лава краски. А еще говорят – страсть прекрасна! Она жестока и страшна. Вливали же древним пленным в глотку расплавленный свинец. Иных варили живьем в кипящем масле. Кто выдвигал огромные котлы для человеческой гибели?! Ее предки?! Он крепче притискивает Иезавель к доскам пола. Он – тяжелый слон, белый кит. Он овладел ею. Он царь! Он победил!

Так вот это какво – умереть. Надо просто сцепиться в объятии. Соединиться с женщиной. И ты вкусишь смерть.

А если... умереть?!

Ты же никогда не думал о самоубийстве, Митя. Отчего бы ты убил себя? От ужаса? От нищеты? Тысячи тысяч людей так живут. Кто-то вешается. Кто-то поджигает себя на площадях. А ты не подожжешь себя. Ты слишком хочешь жить. Ты слишком жаден до жизни. И ты вырвешься. Ты еще вырвешься. Ты еще покажешь этому миру – этой Москве – этой раскосой жестокой женщине, к которой ты приклеился, как муха к липучке – где раки зимуют. Ты тонешь, но ты выплывешь. Как угодно. Любым стилем.

Часы на стене медно и страшно пробили московскую полночь. А в Сибири уже утро. Уже светает. Он никогда не вернется в Сибирь.

Это было дно жизни. Дно, оно и есть дно. Что с него возьмешь. Москва раззявилась громадным чаном, в нем плескалось и варилось множество разных несчастных людей. Митя Морозов прибыл в столицу из Забайкалья, из заштатной Слюдянки, где к тридцати годам мужик спивался, а к сорока его уже выносили из дома ногами вперед – или его убивали в подворотне, пришивали, протыкали острым медвежатничким ножом, или у него само по себе останавливалось сердце от тяжелой перекачки по сосудам гиблой водки, поддельной, паленой. После Слюдянки он пожил немного в Иркутске, ему и там надоело. Он приехал в Москву пытаться счастья. Счастье виделось ему по-разному. Часто это была красивая и богатая женщина. Обязательно богатая. Богатство... Не надо думать о куске. Не надо сжимать в карманах тяжелые гири бесильных кулаков при мысли о завтрашнем дне. Митя немного рисовал; рисовать он начал еще в Сибири, в Москве он продолжил это красивое занятие, с первой дворницкой полочки накупил красок, подрамников, холстов и принялся живописать, забавляясь сам и потешая друзей-дворников. «Эх, Митька, – кричали они, просовывая пьяные рожи в дверь его дворницкой утлой каморки, – эх и неплохо ты закручиваешь!.. а мой портретик можешь?!.. а мой?!.. темпераменту, темпераменту-то хоть отбавляй!.. Давай, жми, бей по холсту!.. Может, пробьешь!.. С дыркой быстрее купят!.. Авангард!..»

Он вставал в шесть утра. Когда валил снегопад – и того раньше. Тяжело одевался, пялил рабочую робу, теплые штаны, ватник, теплую шапку-ушанку. Зимы здесь были, по сравнению со злой Сибирью, теплые, но все равно он мерз невыносимо. Он любил тепло, не любил холод. Он брал под мышку лом, лопату, метлу, выходил на участок, отведенный ему смазливой начальницей РЭУ, скреб, долбил, подметал снег, грязь, сухие листья, куски колотого льда. Снег! Он падал на Москву с небес. Он садился на человечьи меховые шапки и воротники, слетал на брови и ресницы. Люди бежали, веселясь, пересмеиваясь, улыбаясь, вдоль по тротуарам мимо него, спешили на работу, на учебу, на свиданья, они любили снег, ловили его варезками. А для него снег был гибелью, наказаньем. Иногда он не мог встать поутру. Лежал без движения, следя на потолке отражение тускло-желтого фонарного света. В круге света висела старая люстра, пять рожков. Он считал рожки: раз, два, три, четыре, пять. Досчитаю до пяти и встану. Ненавистный снег. Ненавистный участок. Ненавистная работа. Ненавистная Москва.

Счистив весь снеговой ненавистный покров на участке – почти весь Столешников и кусок Петровки – он являлся к смазливой начальнице, сквозь зубы по-солдатски докладывал о том, что все сделано, и поднимался к себе в старый дом на слом, наверх, в коммуналку. Московские дворники, голь и лимита, жили в старых аварийных коммуналках, как муравьи или тараканы, распозаясь по каморкам, влезая в каждую теплую щель. Друзья подначивали его: ну как, все еще не соблазнил нашу кралю-царицу?.. нашу Королеву Шантеклэра?.. не дрейфь, вперед!.. Она тебе сразу в центре Москвы квартиру отвалит!.. Надо же вам будет где-то встречаться в свободное от работы время с полным кайфом!.. Митя отмалчивался. Он ставил чайник на кухне, дожидался, пока у него из носика повалит белый густой пар, подхватывал чайник за ржавую ручку и заваливался к себе. Только его и видели, и слышали.

Что он делал один, весь целый нищий день?.. Он писал. Не только картины. Когда краски и холсты заканчивались, а денег не было купить, и денег не было не только на холсты – на хлеб, он садился в позу лотоса, скрестив ноги, как любила сидеть его подруга Иезавель из старого дворничьего дома напротив, и писал в толстой тетрадке шариковой ручкой. Зачем он это все делал – рисовал, писал ручкой в тетрадке всякие никому не нужные слова?.. Он не знал. Скорей всего, для того, чтобы занять время. Огромное пустое время, что несло мимо него, свистело у него в ушах, как свистит ветер.

Так проходил день. Митя писал, спал, проваливался в тяжелую бредовую дрему, просыпался, сосал луковицу, если не было хлеба, и из его рта всегда пахло луком. Лук хоть как-то, странно и горько, утолял голод. Когда на безумную голову Москвы опускался темно-синий плат вечера, расшитого россыпями фонарных и оконных огней, Митя вставал с матраца, лежащего прямо на полу, кряхтя, одевался, брал под мышку два-три уже высохших холстика и шел продавать их на Старый Арбат. Иной раз у него что-нибудь прикупали. Гордость распирала его. Он, слушая урчанье в животе, под ребрами, немедленно шел в кафе «Прага», выстаивал мучительную очередь, где стояли, ждали своей очереди такие же люди, богатые и бедные, простые и непростые, чтобы поесть, – втеревшись наконец в зал, плюхался за столик, наборматывал официанту все самое дорогое, что значилось в меню, – и, когда официант, подобострастно сгорбившись, притаскивал на подносе странному нищему, бедно одетому пареньку роскошную изысканную еду, что заказывали только господ с туго набитыми кошельками – шницель попельзенски, ветчинный завиток, красную икру, – Митя равнодушно, гордясь собой, выбрасывал ему на поднос весь свой арбатский заработок и съедал все, стоящее на столе, до крохи.

Он ценил крохи. Он ценил хлеб. Он подбирал хлебные крошки со стола, брал их с ладони губами, как лошадь овес. На коммунальной грязной, прокопченной кухне он, криво усмехаясь, маячил над газовой плитой, склонялся над сковородкой, как над иконой. Он знал цену еде, ибо он уже умел умирать с голоду. И это уменье его нисколько не радовало. Он возненавидел голод. Он презирал нищету. Он был нищий человек, и он слишком болезненно переживал это. Он хотел с этим покончить. Он не знал, как.

– Эй, Сонька!.. Слышишь, дура!.. У тебя чайник весь выкипит!..

Сонька вылетала пулей из своей конуры и ковыляла на кухню. У нее не было правой руки. Вместо руки торчал черный протез. Она даже не прикрывала его рукавом. Протез пугал жителей коммуналки. Сонька его не замечала. Она привыкла к нему, как привыкают к ребенку-уроду. Давно не стираный халат; веселая улыбка, обнажающая десны – зубы повыпали, как от цинги.

– Я не глухая!.. Бегу, выключаю!..

– И что чаевничаешь всю дорогу?.. из клозета не вылезешь ночью!..

– Гости у меня!..

Была суббота, и было нашествие гостей. Если человек беден, это не значит, что он не хочет веселиться. Веселиться в Столешникове хотели все, и стар и млад. Соблазнял, раздра-

жал кондитерский магазин напротив дворницкого дома, где продавались восточные сладости. В дворницкой коммуналке к чаю подавали жареную картошку, и это считалось величайшим лакомством. А самолучшей развлекательной игрой, созданной как по заказу для гостей и лучшего времяпрепровождения, среди благородной лимиты считались карты и азартные карточные игры: кинг, девятка, преферанс, покер. Солдатик Флюр объяснял, как играют в кинга. «Не брать девятку!.. Не брать валетов...» Карты летали над грязными, укрытыми газетой столами во всех каморках по обе стороны коридорной реки. Жизнь текла и таяла неотвратимо. Игра скрашивала нищету и мрак, сгущавшийся к полночи за окнами. В оконные пазы дуло. Поворачивал ветер. Ветер дул на Москву с Севера, из Арктики, выдувал последние остатки тепла и радости. Поговаривали о скачке цен, о страшной инфляции. Метла голода сметала в стране целые земли. Плохой был главный дворник на этом участке планеты. Или – слишком хитрый. Он играл в плохую игру.

Митя любил общество Соньки-с-протезом. Он садился на кухне на табурет рядом с ней и подолгу с ней болтал, пока она жарила на сковородке «завтрак бедного офицера» – ломти хлеба, обмокнутые в разбитое яйцо. Он никогда не посягал на ее еду, хотя она его не раз угощала: ешь, Сонька, сама, у тебя руки нет, тебе надо много есть. Ну так что ж, руки нет, смеялась Сонька-с-протезом, значит, мне надо жрать от пуза, так я ж нахально растолстею, в дверь не влезу!.. Будешь меня, Митенька, на тележке возить, в своем занюханном РЭУ скрадешь, колесики приладишь!.. Они хохотали оба от души. Митя глядел, как ловко Сонька-с-протезом управлялась на кухне одной рукой, чуть помогая себе обрубком. Вот она не унывает. А что же ты? И ты не унывай. Все еще у тебя впереди. Все еще будет.

Трезвон раздавался то и дело. То и дело бежали жители к входу – открывать дверь. Гости валили валом. Самые разные. К кому ни попадя. О, да сегодня просто аншлаг!..

– Митя, и откуда ты знаешь такое мудреное словечко – «аншлаг»?.. у своих арбатских иностранцев, что ли, подучился?..

В кухню всунулась старая Мара. От нее за версту несло самогоном. Она подхромала к Мите, обдавая его сивушным ароматом. Два зуба, два гнилых желтых клыка торчали из ее страшной пасти. Глаза лучились пьяной добротой. Она сегодня выпила и была добрая. Добрее всех. Добрей самого Иисуса Христа.

– Ми-тень-ка, – закачалась старуха перед ним, как орех на елке. – Вы-ру-чи. Ребяшня ко мне завалилась... а на шкалик-то и нету. Старая дура все сама вылакала. У тебя денежка есть... в заначке где-нибудь?.. Выручишь, а?..

Митя развел руками. Он вчера просадил всю свою заработанную деньгу в «Праге». Сиденье в «Праге» было его наркотиком. Сидя за столом в кафе, так похожем на ресторан, он вообразил себя смертельно богатым: таким, каким ему и следовало быть в этом мире.

– Нетути, Марочка дорогая, ничегошеньки... гол как сокол!..

Сонька сунулась от сковородки:

– Вот закусь могу подарить... два куска от задницы «бедного офицера»!.. горяченькие!.. прямо со сковороды!..

Старая Мара горестно вздохнула. Ей не нужна была съестная милостыня. Ей нужно было угостить гостей хорошей – это значит, любой, пусть даже самопальной – водкой. Плохой водки не бывает, говорила она наставительно, поднимая заскорузлый покалеченный – однажды попавший на заводе в станок – палец, бывает только хорошая или очень хорошая. И тут раздавался – на всю квартиру, дымящую и чадящую, гомонящую и хлопающую дверьми, еще один трезвон, и Митя услышал, как по коридору потопали тяжелые башмаки – это Флюр и его дружок Рамиль, живший вместе с ним в каморе, наперебой бежали открывать.

Гарканье, клекот поднялись в коридоре до потолка. Прибывшие были невероятно, как певцы в концерте, громогласны и вроде бы уже навеселе. Флюр кричал:

– Заждались, кореша!.. Валяйте, у нас пузырь есть!.. Посидим как белые люди!.. Ты, Варешка, ты как-то расширился, морда у тебя раздалась... ну, тебе идет, ты не куксись!..

Митя понял – гости жданные; при чем тут он, его забудут, его не пригласят, – как вдруг в кухню вихрем ворвались Флюр и монгол Янданэ, кинулись к Мите, схватили его за руки, потащили за собой:

– Идем с нами... выпьем с нами!.. Классные ребята к нам приехали!.. Тебе они понравятся... Хулиганы, правда, но такие забавные!..

Митя покорно, как телок на веревочке, пошел, повлекся туда, куда его тянули. Он часто в каморе Рамиля и Флюра играл на старой раскохшейся гитаре, заглушая, как картами, музыкой – голод и тоску; часто оставался у них ночевать – на прогорклом, пахнущем луком и засохшей блевотиной матрасе, когда в своей комнатухе он работал красками, разводя их остро пахнущим живичным скипидаром и от нестерпимой вони кружилась голова так, будто ты выпил бутылку водки без закуски. Митя привык к каморе Флюра. Так же, как он привык к закутку Соньки-с-протезом, к медвежьей норе старой Мары. Вся коммуналка была его родным домом. Незнакомые гости?.. Плевать он хотел. Сейчас он с ними познакомится.

Длинный и узкий, как его спина, стол был укрыт, в лучших традициях, старыми пожелтевшими газетами. На газетах стояла запотевшая, только что вытащенная из законной морозной сетки бутылка, лежали в миске соленые помидоры, пугающие яркой, резкой краснотой, соленые же огурцы – Митя почти почувствовал их жесткий стекольный хруст на зубах, – валялся круглый ситный, и – о чудо из чудес – вытянулся вдоль газетных заглавий длинный батон колбасы. Янданэ, насмешливо блестя щелочками сильно раскосых монгольских глаз, внес в камору блюдо с вареной дымящейся картошкой.

– Гуляем, братва! – крикнул Флюр. – Водки мало! А где Гусь Хрустальный?.. Почему нет Гуся!.. А подать его сюда, к столу!.. Съедем с потрохами, косточки обсосем!..

Митя огляделся. И вправду, Гуся не было. Зато толклись, как черная мошкара, гости, и можно было без лупы, нос к носу – мала, мала комнатенка для жизни, хороша лишь для любви – рассмотреть их.

Их было трое. Это была странная троица. Они держались вместе, рядком, кучно, притираясь друг к другу, срастаясь локтями, как будто из кто-то пытался разрубить, разбросать, как зерна. Так держатся, жмутся друг к другу паханы на зоне. Какие светились в полумраке каморы у них лица? Митя не мог бы разобрать. Он пытался быть художником, но его зренье здесь отказывало ему: черты лиц пришедших стирались, таяли и гасли, как перегоревшие лампочки. Они все были, кажется, коротко стриженные. Один так и сидел в шапке. Митя протянул руку, чтобы бесцеремонно-шутейно сдернуть с гостя шапку, но тот так сверкнул на Митю глазами, что Митя больше не приблизился к нему. Когда один из троицы говорил, двое других поддакивали, кивали головами, будто они были китайские бронзовые бонзы. Это были... друзья Флюра?.. Флюр, это видно было, рад был им сверх меры. Троица владела радостной тайной.

– Давайте знакомиться, – доброжелательно сказал Митя, – я...

– Ты Дмитрий, я знаю, – перебил его тот, в шапке, снова высверкнув выпученными глазами. – Гусь Хрустальный рассказывал о тебе. Он брехал, что ты художник. Значит, ты...

– ...значит, ты кое-что смыслишь в одной вещи... в одном деле, – вклинился его сосед со стриженной долыса светлой круглой головой. У него был такой вид, будто он только что выпрыгнул из холодной тюремной бани. – В общем, в живописи.

– Заткнись, Гунявый! – вспыхнул Шапка. – Замкни свой сундук! Брехало твое без костей, я понимаю... Рано! Сейчас еще – рано! Ты же не знаешь фраера. Он тебе рыску на форштевень полепит, а ты и будешь доволен.

Третий гость молчал. Его башка таинственно светилась в темном углу, куда он забился, заслонился бутылкой, миской с помидорами, долговязым Янданэ, плечистым кудрявым Флю-

ром. Он был такой же русоволосый, как и Гунявый, только волосы его торчали вокруг безликого лица чуть погуще.

– Что вы, ребята, все о делах да о делах!.. – притворно-весело воскликнул Флюр. – Давайте выпьем сначала! Грех не выпить, такой день..

– Какой?.. – вытаращился Шапка. Сдвинул шапку на затылок, но не снял. Мите показалось – он вспотел, взмок весь. От желтой солнечной картошки поднимался вкусный горячий пар. Мужики с вождельем поглядывали на яства и выпивку. Кто-то должен был откупорить бутылку. Кто-то – стать простеньким, неизящным тамадой.

– Какой, какой!.. День святого архангела Михаила, вот какой!.. Мне Хендрикье сказала. А ей старуха Мара сказала. В общем, все бабы знают. А мы, мужики, не знаем. Нам все по хрену. А у нас Михайлов тут нету?..

– Как же нету!.. очень даже есть... это ж Гусь наш, Хрустальный... да вот нема его в его кладовке, подзадержался он где-то... – Флюр цапнул со стола бутылку, стал расковыривать пробку ножом, потом, плюнув на приличья, зубами. – Придет, не запылится. Сдвиньте фужеры в кучу, господа!.. Разливаю!.. Мишка, пушай тебе икнется!..

«Фужеры» – на деле старые кухонные граненые стаканы, чайные битые фаянсовые чашки, маленькие медицинские мензурки, сборная посудная солянка – наполнились булькающей жидкой ртутью. Гунявый крикнул и вытащил из-за пазухи еще бутылку и брякнул ею об стол. Шапка, тяжело вздохнув, оглядевшись вокруг и оценив обстановку и наличие жаждущих водки мужских глоток, повторил жест. Из-под его подмышки появилось не что иное, как бутылка водки «Абсолют». «Абсолют»! У Мити потемнело в глазах. Водку «Абсолют» пили только богачи и иностранцы. Она продавалась в фешенебельных магазинах. Бутылка «Абсолюта» стояла... черт. Опять стоимость. Опять цены. Будь проклята эта жизнь, где все стоит так, что ты не можешь этого купить. И никогда не купишь. Даже если душу дьяволу продашь. Даже если заложишь самого себя со всей требухой.

Флюр встал за укрытым газетами столом с чашкой водки в руках, поманил пальцем монгола.

– Великий Янданэ хочет произнести тост! – торжественно возопил он. – Спокуха на лице! Запоминаем каждое слово мудрого и великого кормчего...

– Закрой свой гроб, Флюр Сапбухов, и не греми костями, – бесстрастно процедил Янданэ и медленно поднялся, сжимая в кулаке граненый стакан. Митя весело смотрел на него. Забавные гости. И наши ребята веселятся. Сейчас все упьются – горячего много, а жратвы мало, – и начнется самый карнавал. – Я предлагаю выпить за то, чтоб мы с вами вдруг и внезапно разбогатели. Смерть надоело чистить с похмелья лук грязными ногтями!.. И скрести эти вонючие столичные тротуары...

– А ты бы лучше скреб их в своем дерьмовом Удэ, да?! – запальчиво крикнул Флюр. – Это же все-таки столица!.. Город-герой Москва!..

– Хрен с ней, с Москвой, – голос Янданэ был спокоен, будто он служил, как лама, службу в дацане. – Я не договорил. Выпьем за то, чтобы не погибнуть. Чтобы не сыграть в ящик раньше срока. Чтобы вырваться из окруженья. Нас окружили. Мы на войне. Мы на Зимней Войне, ребята, и она ведь идет бесконечно. Афган закончился – начался Карабах. За Карабахом – Сумгаит. За Сумгаитом – Абхазия, Таджикистан, Литва, еще черт те что и где. Теперь – Чечня. А у нас тут своя Чечня. Дворницкая. Ежеутренняя. Вставай, поднимайся, невольник, шуруй, с метлой ты родился, с метлой ты умрешь. Нас обложили нищетой. Трудом. Я этот труд ненавижу. – Митя вздрогнул. Янданэ говорил все, о чем он все время думал. – С коржавой метлою иду я туда, где ждет меня страшная рожа труда. Я стараюсь на все смотреть спокойно, как слон. Я сам человек Востока. Я восточный человек. Но я не мусульманин. Я буддист. Я холодный Будда. Я вижу всю гибель и улыбаюсь. Я знаю, что люди друг друга перебьют все равно. Мужики все равно выпьют, если им хочется.

– Кончай! – разудало крикнул Флюр. – Длинный получается акт!..

– Так выпьем же за то, чтобы нам повезло! – подняв стакан так резко, что из него выплеснулась водка на головы гостям, возвысил голос Янданэ. – Чтобы нам подфартило так, что никому и не снилось!

– А Христос ведь был тоже восточный человек?!.. – крикнул Шапка, поднося стакан ко рту, – ведь Он тоже по пыльным дорогам Востока ходил, Палестина, это же чертов ваш Восток, ну, евреи там, ну и какая разница, восточные они народы все равно, восточные и хитрые!.. Хитер ты бобер, водяру разлил уже по второй, все уже квакнули, а я последний валенок, как всегда!..

Он вбросил в крокодиле распахнутый рот серебряный выплес зелья. Митя, выпив, внимательно глядел на того, третьего, затаившегося. От выпитой рюмки в голове зазвенело, в сердце потеплело. Янданэ сел, затолкал в зубы горячую картофелину, обжегся, застонал, задышал, дул на пальцы.

– Мы погибаем в нищете! – крикнул Флюр весело. Веселость не вязалась с печальными словами. – Давайте придумаем что-нибудь!..

Дверь раскрылась, влетел Рамиль.

– Штрафную!.. Штрафную ему!..

Рамиль услышал обрывок последнего возгласа.

– Мы будем самыми богатыми! – важно сказал он, зверино блестящими косыми глазами глядя на льющуюся в чайную чашку водку. – Я познакомился сегодня на Петровке с такой дамочкой!.. она глава фирмы... Телка что надо... Она обещала нас всех устроить на работу в Америку...

Митя оттянул от горла свитер. Ему стало жарко, как в пустыне. Америка!.. Никогда ему не видать ее, как своих ушей. Рамиль брешет. Дамочка на Петровке. Он скреб асфальт, и она к нему подошла. К низкорослому башкирину Рамилю, с кривым румпелем носа, с веснушками по всему лисьему личику. Как же она им очаровалась.

– Да, надо что-нибудь придумать, – тяжело сказал Митя, – так больше нельзя. Лопата утомила настолько, что ею хочется убиться.

Тяпнули водочки еще; захохотали.

– Убиться?!.. Убиться – это, ха-ха, уже триллер!..

– Кстати, на Пушкинской, в «России», такую триллеруху крутят... классную!.. «Кровавый орел»... пошли завтра, а?!.. после работы, на дневной сеанс, он подешевле...

Тот стриженный, с круглой большой тыквой головы, молчащий в углу парень пошевелился, вздернул плечи, поднялся. Ночь глядела из его лица.

– Вы, ребята. Не будьте козлами, будьте мужиками, если не доросли до блажных. Гунявый, пришла пора колотья. Если не сейчас, то когда же. Ребятишки нам помогут. Нам без помощи никак нельзя. Застрелиться мы всегда успеем. А дельце не мокрое. Колись, колись, Гунявый. Ты же любитель чужими руками жар загребать. Ну вот и начни. Подай пример.

– Вы что, ребята... вы это о чем?!.. – Флюр замер над столом с початой бутылкой «Абсолюта» в руке. Круглоголовый парень взял бережно, двумя пальцами, соленый помидор, высосал, плюнул шкурку на газету.

– Сейчас узнаешь. Ямщик, не гони лошадей.

– Ты лучше сам! – крикнул Гунявый, уже сильно захмелевший. – Ты давай сам, Варезка!.. У тебя складней получится!..

– Ну вот что, – сухо, как на суде, отчеканил Варезка. – Есть одна вещица в натуре, и она плохо лежит. Так плохо, что взять ее – просто сладкая малина. Это не примочка, ни в коем случае. Если б это была примочка, я б и не заикался. Короче, выследил я у одних тупых фраеров одну штуку. Это картинка. Старенькая такая картиночка. Хорошенькая. Если ее сбегать антикварам – могут пристойно за нее дать. Штуки две, три баксов. Я у хозяев

прочистил очко. Как полезно копать в отхожих местах. Они меня потом поили чаем, кормили пирогами, я у них в гостиной картиночку-то и выглядел. Классная фишка. Я бы сам бы себе оставил, если б у меня хаза клевая была. А так... к чему она. Нам бабки нужны. Кто из вас поможет нам?.. Продадим – баксы поделим. Слово чести. Сукой буду.

За столом воцарилось чугунное молчанье. Флюр бацнул бутылкой «Абсолюта» о столешницу. Янданэ невозмутимо, бесстрастно отправлял в рот рассыпчатые картофелины, колечки лука. Митя опустил голову. Жар не выходил из его головы, бился и стучал черной кровью у него под куполом черепа.

– Кража?.. Красть?.. – медленно сказал Флюр – и постукал ногтем о горлышко бутылки. – Хоть я и пьян, ребятки, но скажу вам без запинки, что красть не буду. Не крал и никогда не буду. Так уж меня мама воспитала. Старорежимно, да.

Варежка усмехнулся одними углами рта. Гладкое лицо Варежки было чисто выбрито, мерцало в полутьме. Свечка, что приволок Янданэ, догорала; тусклая лампа под потолком слегка мигала, подмигивала заговорщикам. Раскладушка, держащая на спине, как рыба-кит, старый полосатый матрац, покорно ждала засидевшегося гостя для тоскливого холодного ночлега. В дворничком доме на Столешниковом зимой неважно топили. Жители мерзли; ну, на то они и бедняки, чтобы мерзнуть. На то они и люмпены. Христос терпел и нам велел. Страдания облагораживают душу. А тело – что тело?.. Вот оно водочки выпило, тело, и ему захорошело. И весь тут простой сказ.

– Чистенький, – процедил Варежка. Гунявый мрачно примолк. Шапка сидел как вкопанный. Из-под шапки по вискам у него тек мелкий пот. – Ручки марать не хочешь. И хорошо жить тоже не хочешь. А ведь главное, старик, – хорошо жить. Как жаль, что ты этого еще не понял. Поймешь – будет поздно. Житуха скрутит тебя в бараний рог. И из рога этого будут пить другие. Другие! – вдруг громко, страшно, басом крикнул он.

За столом все молчали. Митя резко стащил свитер с широких плеч и бросил его на раскладушку. За окнами стужалась тьма. Она пронзалась копьями искр. Начиналось ночное безумье Москвы, ее полночный бал, даваемый не для них. Для кого-то другого. Те, другие, веселились, выплескивались из роскошных апартаментов в ночные клубы, в валютные уютные рестораны, на блестящие рауты и парти, на премьеры закрытых элитарных спектаклей и фильмов, погружались в великолепные машины последних моделей, чтобы ехать друг к другу в гости, чтобы потягивать коктейли из высоких бокалов и обнимать прелестных, душистых и нарядных женщин, с жемчужными ожерельями вокруг стройных шей, длинноногих, как антилопы, с улыбками ангелов и нежными руками умелых проституток. Почему?! Почему им – все, а нам – ничего?! Потому, что мы хуже?! Ничуть. Мы такие же. Мы лучше. Тогда в чем дело? Значит, ты не можешь стать таким, как они, потому что ты глуп и туп, потому что Бог не дал тебе ума, ловкости и сноровки, чтобы влезть на вершину дерева, и ты копаешься в грязных навозных корнях?!

Рамиль жалко потряс чубатой головенкой. Водка водкой, а он все славно кумекал. Нет, нет, и он тоже отказывается. Нет, ребята, гуляйте-ка вы лучше сами. Одни. А то и на воздух пора. Вон, пройдитесь по Тверской. Пофланируйте, там много шастает сейчас отпадного народцу, красотки всякие, козочки. Подцепите кралю, поведите ее в дешевый кабак. Ну не старую же Мару приглашать в кабак, в конце концов. А что деньги у вас в заачке есть, Рамиль в этом нисколько не сомневается, Рамиль тоже прожженный, ого-го какой прожженный, ого-го!..

– Кончай балаган, – оборвал бормотанье Рамиля Варежка. Набычил круглую голову. Мите отчего-то внезапно стало страшно этой его круглой головы. – Нежнячки столешниковские. Скушно мне с вами. И дельце-то плевое. Что два пальца...

Митя понял, что он дрожит. Дрожит мелко, гадко, опасно, и дрожь не унималась, росла в нем, захлестывала его петлей. Ему становилось трудно дышать. Чтобы вернуть дыханье, он вытолкнул из себя:

– Я... я помогу вам.

Варежка быстро повернулся к нему. На бледном круглом лице не прочиталось ничего – ни радости, ни удовлетворенья. Как можно так выдрессировать себя, чтоб ничго и никогда не читалось на твоём лице.

– Ты!.. Митька!.. – задушенно крикнул Флюр. – Напорешься!.. Хорошо выпивать вместе, но идти вместе на ограбленье... ты!.. подумай!.. ведь это же пропасть!..

Флюр, бедный. Защитник угнетенных. Он служил в десантных войсках, он знает, почему фунт лиха. Он прыгал с парашютом в чужие чащобы; он поливал огнем из автомата в Карабахе бедные восточные народы, сам весь насквозь восточный. Куда он суется. Это же его, Митин, выбор. А может... он и впрямь ступил на доску, что подбросит и перевернет его в черном, спертном воздухе?!.. Картина. Украсть картину. У простых людей. Каждый человек не прост. И он не прост. И эти загадочные ребята не просты. Они тоже работают в РЭУ, только в соседнем. На Тверском. Он вспомнил. Флюр рассказывал. Две штуки баксов!..

Если поделить... на всех... м-да, негусто...

– Отвали, Флюр, – тихо сказал Митя, продолжая мелко дрожать. – Я иду с ними. Я хочу. Я хочу этого. Слышишь.

– Леонардо... Недовинченный, – так же тихо, зло ответил Флюр, приблизил к Мите пьяное лицо и дыхнул. – Иди! На ментов напорешься мигом! В кутузку сядешь! На зону поедешь!.. А у тебя и невесты нет, чтоб письма писала, посылочки отправляла... сирота ты наша казанская...

Митя обвел глазами троицу. Шапка отер пот с виска. Гунявый облизнул пьяный скользкий рот. Варежка, откинув голову, как князь, владыка, глядел презрительно, властительно, надменно: все вы салаги, все фраера. Пустая бутылка из-под «Абсолюта» нежно светилась в тревожной полутьме. Свечка Янданэ догорела. Оплавленный воск застыл сталактитами. На желтой старой газете расплывались красные пятна помидорного сока. Над топчаном с торчащими пружинами, с выдранной из журнала обложки, глядела старая красotka София Лорен, улыбаясь полными, вывернутыми, как у мулатки, сладострастными губами.

– Я пойду с вами на кражу, – твердо повторил Митя. Его всего колыхало. Щеки его горели, как на морозе. – Когда встречаемся?.. Где?.. Меня вы найдете, это понятно. Я не знаю, где вас искать.

Дверь откинулась, чуть не сорвавшись с петель, и вбежал худой, поджарый человечек в сдвинутой на затылок собачьей ушанке. В руках у человечка был зажат дворницкий букет – две метлы, лопата, скребок, маленький чугунный ломик.

– Приве-е-ет!.. – возгласил он тонким голосом и вытянул шею, и вправду стал похож на гуся. – А я вот проспал с утрянки, пришлось вечером повкалывать!.. Все, сдам участок завтра Королеве Шантеклэра в лучшем виде!.. О, гости!.. да вы все тут уже тепленькие, собаки, а меня никто с Петровки не позвал, за шиворот из дерьма не вытащил... там ярмарка днем была, так я после ярмарки те ящики два часа не мог растащить!.. хоть бы помогли, сволочи!.. Дайте выпить поскорей!..

– Последняя бутылка, – мрачно сказал Флюр, покосясь на Митю гневно. – У нас последняя бутылка. Так-то вот. Успел ты, Гусь, к столу, на то ты и Хрустальный. Выпей, и завтра дрыхнем. Завтра будем дрыхнуть без задних пяток. Никакой сдачи участка. Ты забыл, старичок, что завтра воскресенье. Ты заработался. Отдохни.

Митя остановившимися глазами следил, как Флюр наливает в чашки и стаканы последнюю водку. Он понял: он сейчас переступил порог. Перешел вброд запретную реку. И на другом берегу реки – другая жизнь. И он теперь уже другой. Он иной. У него иная кожа, иные руки, иные мысли. И он не знает, какая эта новая земля. Что с ним будет там. В тяжелой ночи, прорезаемой яркими вспышками глупых реклам.

Троица ушла. Они договорились так: Варезка придет к нему послезавтра, и они вместе пойдут на дело. Хозяева квартиры, где висит картина, – простые как лапти. Вариантов было два: либо усыпить хлорэтилом – Варезке обещала его шмара, медсестра, похитить пузырек хлорэтила из больницы, – либо, нацепив на рожи черные чулки с прорезями для глаз, связать хозяев по рукам и ногам, заткнуть им рты кляпами и спокойненько вынести картину из дома. Ищи-свищи потом. Тысяча таких квартирных краж по Москве ежедневно. Если б милиция занималась всеми – она бы просто сдохла, как загнанная лошадь. Красть в перчатках, отпечатков пальцев не оставлять. Идти в дом поздним вечером, когда в подъезде мало людей, чтоб не наткнуться на соседей, кто может запомнить тебя, каков ты есть без маски, кролик.

Флюр и Рамиль пытались отговорить Митю. Они и так, и сяк заходили к нему, с разных сторон, с фасада, с тыла. Флюр зло кричал: для этого я тебя подобрал у метро, мазила бездарный, кому нужны твои картинешки, арбатский прихвостень, дешевка!.. преступником хочешь заделаться, легкой монеты захотел!.. Мягкий Рамиль увещевал: подумай сам, пораскинь мозгами, а если вас сцапают?.. Пятак тебе обеспечен только так, а то и семерик... И амнистии не дождешься... Ты же станешь другим человеком, пойми, дурак, с зоны на материк не возвращаются, даже если тебя и выпускают на свободу, на зоне остаются навсегда!.. У тебя в крови потечет табак зоны, похлебка зоны, касты зоны!.. Там же касты, дурья башка, там же жесткое деленье на касты, не дай Бог тебе провиниться, тут же тебя упекут в чушки, в козлы... в петухи... стать петухом – страшно... это опущенные... один братан мой, двоюродный, на зону попал, стал петухом... и свел счеты с жизнью, повесился в дальняке, в нужнике, значит...

Митя сжимал зубы. Его молчанье устрашало друзей. Он поворачивался к ним спиной. Мышцы узкой спины под мокрой от пота рубахой бугрились, ходили ходуном. Он решил, и делу конец. И не о чем тут больше было балакать.

...да, он просто нищий человек. Да кто шьет ему прозвание человека?! Может, он и не человек вовсе, а так, пылинка, сдунутая Богом с рукава. Город большой и бешеный, а надо найти пропитанье. Кусок хлеба в нынешней Москве дорогого стоит. Надо молодому человеку найти любовь – хоть она и долготерпит, иной раз терпеть невмочь. Подвернулась баба, Иезавель. Он ходит к ней. К себе он привести ее не может. Его скверное логово в людском муравейнике. Камора, оклеенная традиционными газетами в пятнах вина и масла. Сто каморок – кухня одна. Оттуда вечно тянет суровой гарью, площадным дымом. Это не Москва; это Армагеддон. Место последнего земного сраженья. Чтобы не класть голову под гильотину тоски, можно напиться водки и бредить. И верить, что в кухне, в самой ржавой кастрюле, кинутый и заброшенной, в которой давно никто и никогда не готовит еду, живет Левиафан. Он кожаный, костяной, ручной. Старая Мара знает, что он там живет. Она кормит его зимой – мышами, что ловят худые кошки коммуналки, летом – стрекозами. Стрекозы влетают к старой алкогличке Маре в открытую форточку и садятся на поднятый кверху палец. И она, накрыв беднягу ладонью, сразу, сломя голову, бежит на кухню. Левиафан хочет есть. Его надо кормить часто, жирно, вкусно. А ты, художник, подождешь. Ты, художник, молча жди. Ты вступил на путь без возврата. Впечатлений захотелось?! Их давно повыбили, как зубы, и они подернулись ядовитым дымом.

Бред, разумеется. Старая коммунальная сказка. Он сам рассказал ее Маре, и она поверила. Дым, дым. Закурить бы. Он курит самую дешевку – «Приму», «Бурсу», «Беломор». Вытащить из кармана рубахи пачку; выбить папиросу; закурить дрожащими руками, чтобы в голове стало тепло и ясно. Он курит невесть с каких пор. Давно. Может, с трех лет. Куревом пропитались крепкие сибирские зубы, стали слабыми, желтыми, и он время от времени вынимает их из десен, как желтые ягоды из лукошка. Он обкуривал свою Иезавель, и она кашляла, как чахоточная. Докурив, он протягивал к ней жалкую руку. Он кланчил копейку на сигареты, на папиросы. Он хотел есть, пить, курить, любить, а денег, чтобы заплатить за все это, у него не

было. Он втягивал голову в плечи. Он глядел жалобно, кривя рот в усмешке, где среди ровного ряда зубов зияли черные дырки. «Я отплачу тебе своими картинами. Только дай. Дай!» Женщина вскидывала голову, и ее глаза скрещивались с его глазами. Глаза – клинки. Взглядом можно так же убить, как словом. Как ножом – в черном дымном углу, в подворотне. Он молил у Иезавель милости. Он потреблял ее, ел ее, выгрызал – мышкой – дырку в ее неведомой ему жизни. Она никогда не отказывала ему. Это было странно. Он сначала радовался. Пока до него не дошло, что он ей тоже нужен. Что она тоже пользуется им, как расческой, как костяной буддийской лапкой для чесания спины.

Он курил и вспоминал, как это было. Это было совсем недавно. Сегодня?.. Вчера?.. Как тело отлепилось от другого тела. Розовая, потная молодая плоть. От нее идет пар, дым, огонь. Крестец промерз на холодных досках. По телу текут алмазы, топазы, икра, молоки, звезды, огни. Все краски мира. Течет горящая смола, и выходят вперед нищие воины с метлами и лопатами наперевес, чтобы мести вдоль и поперек собаку-жизнь. Женщина на полу дышит хрипло; может, заболит. Не будет гнуть и ломать его. Проклянет – хоть на время.

«Одевайся и проваливай. Мне с тобой было плохо».

«Врешь!»

«Убирайся».

Он помнил, как радужки ее из черных превратились в зеленые, злые, блестели жуками-бронзовками. Она тяжело дышала, в ее груди kloкотали хрипы. Он чуял ее ребра под своими. Он знал, что она любит его.

Он также знал, что рядом с норой, где в коммуналке жил он, глодал голую кость, на грязном кожаном мате, лицом вниз, лежала и ждала его маленькая дурочка без роду-имени. Он называл ее Хендрикье. Она тоже любила его. Ее любовь была скучна, тускла и тонка, горела черным, неважно промасленным фитилем. У Хендрикье не было никакого имущества, был только мат в комнатухе, чтобы ночью спать, ржавая сковородка, нож и вилка, чтобы готовить еду. Ложки не было. Иногда, утомившись ковырять вилкой, она ела из сковородки руками. Когда у нее, неизвестно откуда – она нигде не работала – заводились маленькие денежки, она покупала камбалу с двумя глазами, сумасшедше глядящими в зенит, жарила ее на бронзовом прогорклом маргарине и угощала Митю, после вечерней погони за красками по белому полю холста плохо соображающего, где лево, где право. Старая Мара гоняла Хендрикье, замахивалась на нее ополовником. Сонька-с-протезом подхихикивала над ней. «Может, ее в больницу сдать?.. Жалко!.. она вроде безвредная...» Коммунальцы привыкли к ней. Митя тоже привык. Она не признавалась ему в любви – любовь светилась у нее внутри, вылетала из нее тонкими лучами. Он работал, работал, писал до упаду; она тихо стучала к нему в камору, скреблась, как мышь, в дверь. Она касалась двери, как языка огня. Он отпирал – она молитвенно, лодочкой, складывала тощие ручки. «Приходите на обед, господин!.. Да, господин!.. Нет, господин!..» Где, в каком сериале по телевизору она это видела и слышала?.. Митя не знал, плакать или смеяться или плюнуть ей в лицо. Она была такая sereneкая, что одолевало искушение – размазывать ее свежей кистью, разными красками. Нарисовать на впалых щеках незабудки. По носу мазнуть морковным кадмием. «Идите, Митя, ваша рыба стынет!..» Он послушно шел, ибо есть было ему нечего, и пыльная пустыня его холостяцкой посуды хищно мерцала. После вонючей еды он позволял себе повеселиться с Хендрикье на черном жестком мате, сташенном неведомо кем и когда из ближней школы. Он сажал ее на себя, как елочную игрушку, и жестоко бил копьём снизу. Его не волновали ее крики. Дурочка, и все. Главное – она не противно пахла. Скорее нежно. И все же это был не родной запах. Не тот.

А при виде Иезавель ноздри его раздувались, и в них входил лошадиный дух, топот, пот, скрип повозок, соль свежей крови, духмяный дым древних горящих палочек для молитв, пар, завивающийся в ночную темень вверх – от грубых степных лепешек, испеченных в камнях,

в золе отбушевавшего костра. Иезавель не отроду жила в Москве, это он знал. Какой конь-любовник, на котором она прискакала сюда из дикой азийской ночи, искривил ее горячие ноги?

Ну, вспомни еще раз о ней. Вспомни и забудь. Как она опять, после объятий, уселась в позу лотоса, переводя дух. Не утрудив себя одеваьем. В комнатке сгущался холод, белым папоротником клеился к стеклам. Камин, упомянутый ею, мог быть просто-напросто сказкой. Каменно сидела Иезавель, и он, пляя одежду на себя, утекая по голым доскам вон в звоне пуговиц и крючков, смертно ревновал ее всю – от черного затылка до горелой корки истоптанной ступни. Он убил бы за нее всех. Всех.

И все время, пока он застегивался и шарахался к двери, не в силах уйти, она молчала. Молчала и тогда, когда он, вне себя, неистово крикнул ей в недвижимое раскосое лицо:

– Ненавижу!

Снаружи шел снег. Шел белый, черствый хлеб. Огромная темная Божья рука из сбитых в комок туч скупно крошила снег на Москву, по крохе отмеряя голодным.

Он решил больше никогда Иезавель не писать.

Хлеб падал ему на щеки, и он жадно слизывал его.

А сейчас он жадно вдыхал табачный дым, опьянялся дымом, как вином, как водкой «Абсолют». Варезка мог прийти к нему с минуты на минуту. Во всякое время мог прийти к нему Варезка, и он должен был быть готов.

Когда на всю коммуналку раздался оглушительный трезвон, Митя уже знал, что это за ним.

– Заходи.

– Уже зашел. Ты в форме?

– Я в полном порядке. Ты как?..

– Никак. Как старый дурак. Ты не выпил для храбрости?..

– Нет.

– Хвалю. От нас не должно вонять алкоголем. Мы должны быть сами как доктора.

Варезка скупно хохотнул. Подвытащил из кармана сверкнувший стеклянный пузыречек. Митю обдало холодом.

– Хлорэтил?..

– Представь себе. В спектакле будет и то, и другое. Мы сперва брызнем им в хари этой дрянью, потом повалим на пол и свяжем. Два зайца сразу будут убиты. Они оглушатся сначала, а после очухаются, да будет уже поздно. Может, им удастся еще увидеть наши радостные зады, когда мы станем отваливать к выходу с картинкой под мышкой. Ты оделся?.. Вперед. Труба зовет. Говорю тебе, мы сильно подлатаемся, парень. – Варезка мазнул себя пальцем по гор-тани. – Под завязки. Если ты, случаем, задрейфил, сразу скажи. Мне хлюпики обсосанные на деле не нужны.

Митя застегивал старые рабочие потертые джинсы. Черные джинсы, теплые, зимние. Отличные штаны, и в пир и в мир. Но позорно старые. Вытертые на сгибах. Если они украдут картинку благополучно и впрямь забогатеют, он первым делом купит на барахолке приличные джинсы. Эти-то совсем износились. А потом купит Иезавель бусы из искусственного розового жемчуга в ювелирном на Новом Арбате. Они висят там на черном бархате. Как розовые звезды. Боже, о чем он думает. Он напряг мышцы ног, огладил себя по коленям, зажмурился, затряс головой, потер руками лицо.

– Все о'кей, старик. Идем. У меня сердце бьется, как у космонавта. Можешь не сомневаться. А ты... – Отчего-то Мите захотелось ЭТО у него спросить, и именно теперь. – Ты на дело часто ходил?.. Ты... откуда все так знаешь, что да как?.. Или ты тоже... первый раз?..

Варежка, скрипя негнушейся «чертовой кожей» черной куртки, оглянулся на Митю через плечо так, будто бы он был опытный рыбак, а Митя – маленькая дохлая уклейка, попавшая случайно в сети с жирными отборными сазанами.

– Обижаешь, начальник, – кинул он весело. – Я уже отмотал срок. На Северном Урале, в Ивделе. Солдатики с собачками нас стерегли. Хорошенькие такие собачки были, откормленные. Собачек лучше кормили, чем людей. Я одну собачку там полюбил. Ну... как человека. Она мне всем была, и подругой, и другом, и санитаром, когда болел я, она мне свои косточки притаскивала, чтобы я погрыз, и какую-то травку в зубах приносила, из тайги. Лечебную, значит. Нет, друган, козлом я не стал, не ссучился. Меня так просто на шило не возьмешь. Паханы меня уважали. Но та собачка... да, собачка!..

Глаза Варежки увлажнились. Любить зверя как человека! Идти на человека, как на зверя. Те два хозяина картины были сейчас для Варежки – два зверя, и он должен был на них поохотиться, взять их, связать им лапы, как волку. Волка в Сибири привязывают, пойманного, к бревну и так несут на заимку, и он глядит из-под бревна красными горящими глазами, и во взгляде этом – все: и ужас, и мольба, и ненависть, и слезы. Только прощенья в этом взгляде нет. Нет прощенья.

Они с Варежкой спустились в старой коробке запаршивевшего лифта вниз, потряхиваясь, как на лебедке, нюхая запахи кошачьей и человеческой мочи, читая бессмысленные похабные надписи, выцарапанные ножом на стенке. Улица обняла их могучими снежными лапами. Снегопад. Хоть завтра и воскресенье, а тебе придется, Митенька, потрудиться на свежем воздухе, ибо в понедельник ты не разгребешь завалы. Есть один выход – соблазнить Королеву Шантеклера и отвлечь ее от приема участка, но ведь она ни за какие деньги не соблазнится тобой.

– Динь-дилинь!. Динь-дилинь!..

Ого, у них в хатенке колокольчик. Как нежно, изысканно. Если у него когда-нибудь будет такая квартира...

Митя не успел додумать. За дверью зашаркали тапочки. Пожилой человек шел к двери, охал, крихтел на ходу. Зацокал замок, и тут стоявший за дверью спохватился – а как же это, не спросив!.. такое время нынче страшное, того и гляди, влезут жулики какие!.. – и бормотнул тихим, слабым тенорком:

– Кто это там?.. поздно уже...

Варежка кашлянул. Подмигнул Мите. Выдернул из кармана припасенные черные шерстяные чулки с прорезью, один протянул Мите, другой живо натянул на голову. Митя ахнул про себя, увидев вместо лица Варежки черную тупую болванку с двумя сумасшедшими глазами, белки блестящие в прорези, как рыбы в проруби.

– Нацепляй, что стоишь, как солдат на вышке!.. – прошипел Варежка шепотом, сложил губы трубочкой, приблизил лицо к двери и пропел:

– Валерий Петрович, добрый вечер вам, это я, Илья, слесарь ваш!.. Я у вас недавно был вот, да... это... тут инструмент один оставил, затолкал его в доброе место... вы, небось, и не нашли?.. а мне завтра надо, я по участку на ремонты иду... Вы не бойтесь, я не пьяный!..

За дверью молчали. Хозяин все еще сомневался: открывать – не открывать. Время было не слишком позднее, но не так, чтобы ранее – десять вечера. Москвичи не ложатся спать в десять, даже «божьи одуванчики». Телевизор... чай... звонки друзей, родни... книжки, душ, тары-бары... Варежка досадливо прищелкнул пальцами. В двери не было окошечка. Валерий Петрович не мог видеть их черных страшных голов, обтянутых чулками.

– Ох, Валерий Петрович, – Варежка сделал голосок совсем обреченный. – Все, пиши пропало. Начальник мне в понедельник врубит по первое число... я в воскресный день-то на ремонты за пятницу договорился... а в пятницу я приболел... с похмелья сердце прихватило... в общем, хана мне!..

Ну просто заплачет сейчас. Митя блестел глазами в прорези маски. Митя готов был сам пожалеть несчастенького Варежку – так правдоподобна была его отчаянная мольба.

Ключ снова заскрипел в замке.

– Ну хорошо... сейчас, сейчас... я уже в халате... а Валечка спать уже легла... она сегодня вымылась, ванну приняла... что ж это вы, Илья, припозднились так, пораньше бы... и какой инструмент?... нету у нас никакого инструмента...

– Под ванну я его сунул, под ванну... далеко...

– Ну только если далеко... ах...

Дверь не успела открыться настежь, как Варежка изо всех сил нажал на нее плечом, отдал, вставил ногу между дверью и притолокой, схватил за руку хозяина, попытавшегося накинуть осторожную цепочку – а вдруг это все-таки не Илья, а просто у какого-то проходимца голос похож?!.. – налетел на него, смял, прижал к стене, и Митя влетел в прихожую следом, и тоже схватил Валерия Петровича за руку, и вдвоем, в диких черных масках, они держали беднягу за руки, будто собирались распять. Седой грузный мужчина с жирненьким подбородком беспомощно дергался, пытаясь вырваться, пытаясь крикнуть. Варежка выхватил из кармана стеклянную ампулу, отломил стеклянную верхушку, направил распыляющуюся морозную струю прямо в лицо, в нос старику. Валерий Петрович задергался, стал сползать по стене. Сдавленно вскрикнул:

– Валечка!.. Ва...

– Не бойся, мы тебя не уьем, дедушка, – внезапно грубым голосом из-под маски вякнул Варежка, – никакой я не Илья, и забудь обо мне, как меня и не было. И Валечку твою мы не кокнем. Пусть живет. Знать, судьба вам умереть своей смертью, доходяги. А вот кое-чем мы у вас поживимся. – Говоря это, он связывал толстому старику руки за спиной, ноги в щиколотках крепкой медной проволокой. Митя чуть не закричал: осторожней, не так сильно стягивай, это же медь, она ему кожу перережет, – как вдруг Варежка обернулся, и Митя увидел, как зло, бешено сверкнули его глаза из шерстяной щели.

– Ты, фраер!.. – выцедил он, вставил старику в рот кляп и перевернул его лицом вниз. – Что валяешься без дела, как газета в дальняке!.. Иди туда, в дом, там же Валечка, черт ее закатай, в свежей постельке поживать собралась!.. Давай, обработай ее, а я сейчас подключусь!.. Ты что, слабак, с бабой не справишься?!..

Митю опять затрясло, как тогда, на судьбоносной пьянке. Водочки глоток сейчас не помешал бы. Медлить нельзя. Сейчас Валечка расслышит как следует возню в коридоре, поймет, в чем дело, вылетит на балкон, если есть балкон, откроет окно и поднимет хай, или рванет трубку, наберет ноль-два... или она уже ее рванула... уже набрала..

Он пробежал огромную гостиную с аккуратно застланным белой камчатной скатертью круглым столом, с горками перламутровой посуды, фарфоровых сервизов, со старинными этажерками времен Александра Третьего, на которых штабелями были сложены старые, в лоснящихся темных переплетах, с золотым тиснением, драгоценные книги, и вбежал, откинув портьеру, в спальню. На кровати, под одеялом, лежала распаренная, вся розовая, с тюрбаном полотенца на голове, на мокрых волосах, дородная пожилая женщина, похорошевшая после купанья, после горячей воды, кремов, лосьонов и притираний. Ее руки лежали поверх одеяла, как у послушной девочки. Впору ей было бы сложить ручки и прочесть молитву на ночь. Она глянула на ворвавшегося в спальню Митю – не Митю, а черную болванку в дворницкой штормовке – остановившимися, вылезшими из орбит глазами.

– Господи!.. Господи, помоги!.. – только и смогла, успела сказать она.

Митя набросился на нее. Проволока была у него в нагрудном кармане, в штормовке, Варежка сам клал ее туда, он хорошо помнил это. Но проволоки там не оказалось. Розоволицая выкупанная Валечка начала с ним бороться, сопротивляться ему. Она не кричала. На ее

искаженном лице не было написано ничего, кроме страха. Она не хотела умирать. Она хотела жить во что бы то ни стало. Проволока! Где проволока! Почему нет проволоки!

Ничего себе, какая сильная матрона. Митя и она вцепились друг в друга, возились на кровати. Это было похоже на постельную сцену. А мог бы ты переспать со старухой?.. Нет, никогда. Со старухой можно только дружить. Старый человек – кладезь мудрости. Совсем рядом с собой, со своим лицом, затянутым в черный чулок, Митя увидел широкое стареющее женское лицо, со всеми морщинками, ямками, порами, с родинкой, из которой росли три жалких волосика. Увидел глаза женщины. Широко расставленные, как две воткнутых в булку изюмины, глаза, и в них – одна боль, одно отчаянье – последнее в мире.

– Не дергайся, – кусая губы под колючей душной шерстью, пробормотал Митя, – это не страшно, это совсем не страшно...

Внезапно женщина под его руками ослабла, стала хватать воздух ртом, закинула голову, зашарила руками вокруг себя. Он понял – она обмочилась: запахло аммиаком, простыня под ладонью увлажнилась. Все тело Валечки расплылось по кровати, будто она была прежде костью и стала нежданно мягким теплым тестом, и оно текло и текло с кровати на пол, текло сквозь руки, сквозь пальцы, и его было уже не собрать.

Она не шевелилась. Кисти покрывала, висевшего на спинке кровати, трепал сквозняк – форточка была открыта. Митя отпрянул. Он ничего не понял. Он подумал – ей плохо, плохо...

– Ей плохо, Варежка! Ей плохо!

Он все кричал: ей плохо, ей плохо!.. – несясь из спальни в гостиную, из гостиной в прихожую, чуть не сшиб с ног Варежку, ухватил его за руки, пытался втолковать ему, как же плохо ей, и надо найти на кухне сердечные капли, и накапать в стаканчик, и дать ей, – и плелся за Варежкой снова в спальню, и повторял это «ей плохо» до тех пор, пока Варежка, присев около кровати, не поднял знающей жесткой рукой, как заправский врач, веко Валечки и не заглянул ей в закатившийся глаз.

– Зрачки не реагируют на свет, нудило, – важным тоном произнес он, сплюнул на пол. – Она уж холодеет. Пощупай. Крепко же ты помял бабенку тут без меня. Жмурик совсем не входил в мои планы. Крутой ты оказался гармонист. Совсем не чайник. Что делать будем?.. А ничего. Придется папашу мочить. Другого выхода нет. Ты хоть картиняку-то видел?.. Объект, с позволенья сказать?..

Митя стоял недвижно, глядел на Варежку. В голове у него стучали бубны, звенели, бесились. Звон и стук наполняли голову, разрывали ее надвое, раскалывали. Он обнял обтянутую черной колкой шерстью башку обеими руками, сжал, как незрелую тыкву.

– Она... умерла?!.. – глупо, ненужно спросил он.

– Нет, она притворяется! – раздраженно крикнул Варежка и ткнул Митю кулаком в грудь. – Хватит зевать, будто ты налим, которому печень веслом отбили!.. Закрой хайло!.. Двигай в гостиную, снимай со стены картинку!..

– Какую?..

– Она там одна, дурило!.. Одна-единственная висит!.. Это, видно, все ихнее наследье старого режима!.. память какого-нито дедушки, бабушки какой!..

Митя попятился из спальни. Впал спиной в гостиную. «Она умерла, она умерла», – повторяли его дрожащие губы сами по себе, а внутри него кричало: я не виноват, нет, я не виноват. Я не ушиб ее... я не зашиб ее, не задавил... я не сделал ей ничего плохого!.. Люстра в гостиной, с дешевыми прозрачными пластмассовыми пластинами, сработанными под хрусталь, бросала пятна света на круглый стол. Над столом, напротив посудной горки, висела... эта вот ерунда?.. Митя непонимающе смотрел на картину. Митя даже расстроился. Да нет, это, наверно, совсем не то, о чем говорил Варежка. Маленькое такое полотно, с виду невзрачное, тусклое, то ли это свет от люстры тусклый, дешевый, то ли он странно ослеп от близости смерти. Он подошел ближе. Еще ближе. Глаза его стали привыкать к письму, к манере художника. Так, формат

пятьдесят на шестьдесят, не особо впечатляет. И фигурки маленькие такие, хоть в лупу рассматривай. Что тут изображено?.. Он уткнул нос в картину. Масло, да. Как все скрупулезно выписано. Мастер был любитель подробностей.

Вдалеке мерцали высокие деревья, усыпанные непонятными плодами, похожими на лимоны, на апельсины – они ярким золотом, медными шкурками светились в темноте. Деревья напоминали наряженные Рождественские елки. Вровень с верхушками деревьев стоял ангел. Его громадные крылья распахнулись за его спиной, заслоняя туманное, все в тревожно-летающих тучах, мрачное небо. В руке ангел держал меч, похожий на язык огня – так неистово горел он в угрюмом сумраке. И у ног ангела, маленькие, крохотные, как букашки, убегали от его вздетого, поднятого над их головами огненного меча две человеческие фигурки – мужчина и женщина, полуголые, в шкурах, чуть прикрывавших их нагие, трепещущие тела. Женщина в ужасе закрывала простоволосую голову ладонями. Мужчина, оглядываясь, пытался защитить ее телом, грудью, прикрывал ее поднятой беспомощно рукой. Они бежали. Они спасались. Они уносили ноги от гибели.

Митя осовело смотрел на полотно. Картина висела на стене в тяжелой резной раме, покрытой густым слоем сусальной позолоты. А, вот почему она казалась тусклой – вызывающе богатое золото багета лезло вперед, приглушало колорит живописи. Он бы еще долго так глядел, уставясь, на картину, как резкий и злой крик Варезки вывел его из оцепененья.

– Ты, Митька!.. слышь!.. долго будешь пялиться!.. сдирай со стенки, ховай под куртку – и деру... только из рамы, из рамы высади... на черта нам рама, в раме она под полу не влезет... антиквары лучше без рамы возьмут, им за раму не платить...

– Дурак ты, Варезка, – разлепил заledenевшие губы Митя, – живопись надо и смотреть, и показывать в раме... без багета работа – как без одежды...

Он послушно выполнил приказ Варезки. Когда он снял картину и перевернул ее, чтобы вынуть ее из багета, он чуть не вскрикнул от удивленья. Картина была написана мастером не на холсте, а на меди. Тяжелая медная доска, загрунтованная особым образом. Митя понятия не имел, кто, где так писал картины. Он знал технику: масло, акварель, гуашь, пастель, – а в художниках и эпохах он разбирался так же, как Гусь Хрустальный – в богемском хрустале. Он не читал книжек о художниках. Он понятия не имел о ценности этой вещи. Стоило из-за нее огород городить, влезать в жилье наглым образом, в черных дурацких, малышейских масках, и потом, эта Валечка... эта Валечка...

– Может, все-таки вызовем «скорую»?.. – бесполезно спросил он Варезку, выбегая в переднюю. Варезка оттаскивал за ноги бесчувственного Валерия Петровича под вешалку, под беспорядочно висящие старые шубы и пальто.

– Черт, черт, – не отвечая Мите, бормотнул Варезка. – Ах ты, чертова работа какая. Загнулась тетка-то. Надо и ее старого жука для верности заделать. По правилу буравчика. А то потом хлопот не оберешься. Эх, не хотел я. Да видно, придется. – Он кинул взгляд на Митю. Митя поразился – подземный свет вылетал из его глубоко запавших под лоб глаз. – Но не мне ручонки марать. Я их уже немало замарал в житухе. Ежели что... ежели так... ты уже мочканул одну, значит, и второго осилишь.

Варезка метнулся в комнаты. Выбежал с подушкой в руках. Валерий Петрович вяло пошевелился. Рауш-наркоз отходил. Он просыпался. Его выкаченные глаза кричали: ужас!.. ужас!.. пощадите!.. – на бледном жирном лице.

– На! – Варезка кинул подушку Мите, тот поймал ее. – Дави его! Ну! Вали ему на рыло – и прижми! И так держи, пока он дергаться не перестанет!

Митя затряс головой. Все происходящее мелькало перед ним, как цветная наклейка на спицах. Медь картины холодила ему живот. Он прижимал ее к себе под курткой, как прижимают любовницу.

– Я... не буду!.. – затравленно взвыл он. Варезка стиснул угол подушки в кулаке.

– Значит, буду я, – неприкрытая злоба послышалась в его голосе. Митя подумал: да, именно такая злоба нужна, чтобы отважиться убить человека. И Варежка его сейчас убьет. Как убивал других, раньше. Тех, кого Митя не знал. Кто глядел перед смертью вот так же, такими же широко открытыми, полными безумья и ужаса глазами. – Опять я! Всегда я! Везде я! Варежка здесь, Варежка там! Мало того, что я тебя сюда привел, мало того, что я тебя в пай со всеми беру, мало того...

Он бормотал и бормотал безостановочно, подогревая себя, возбуждая, заводя неистовством. Валерий Петрович слабо дернул головой вбок. Варежка навалил подушку на лицо старика и накрыл подушку, лицо, дергающееся тело своим сильным, жилистым телом. Митя видел, как возили по полу ступнями в тапочках ноги старика, как вздергивались колени, будто бы по ним били врачебным молоточком. Еще вздрог. Еще судорога. Еще одна большая, длинная судорога прошла по всему грузному телу. Еще раз дернулась нога. И все затихло.

– Финита, – сказал Варежка, отлипая от распростертого на полу тела, поднимаясь с полу, отряхивая колени, отдуваясь, как после сделанной трудной работы. Сорвал с себя черный чулок. Отер ладонью лоб. – А ведь клятву себе давал, что на последнее мокрое дело иду. Заткнул я едальник одному козлухе тут... еще судимость заработал, еще шестерку. И то, мою вину не доказали. Фифти-фифти все разделилось. Следовательно себе последние мозги поджег. Счастливо я отделался. А тут, видишь... – Он будто кипяток выплеснул из глаз на Митю, очумело прижимавшего картину к животу. – Видишь!.. Ничего ты не видишь!.. Ослеп от жути!.. В штаны наложил!.. Больше ни за что с фраерами на дело не иду!.. Ни за какие коврижки!.. Давай, чеши, двадцатой ножкой, сороконожка, за тридцать пятую не задень!.. Да не забудь черную чапашку содрать, а то тебя керосинки неправильно поймут!..

Они вывалились на лестничную клетку. Пусто. Никого. Варежка аккуратно, чтоб защелкнулся замок-автомат, закрыл за собой дверь.

– Все ништяк, – он, внезапно повеселев, ткнул Митю больно локтем в бок. – Все оказалось простяк! Видишь, Митька, не так страшен черт, как его... малютки, ха-ха-ха!.. – Он оценивающе поглядел на закрытую дверь и присвистнул. – Когда завоняют, тогда менты приканают. Не раньше, чем через неделю-другую... Эх ты, хмырь, что приуныл?!.. Я думаю так – эта бирюлька на две, три штуки точно потянет!.. как пить дать!..

Он нажал на кнопку вызова лифта, навалился всем телом, как давеча – на лицо старика. Митю замутило. Холодная медь, прижимаясь к его горячему телу под курткой, казалось, прожигавшему рубаху, спасала его от позорной рвоты.

– Не вздумай усвистать с ней, – резко, прищурясь, обернулся Варежка к нему. Лифт полз по этажам, как черепаха. – Я тебя везде найду. Если ты сейчас, на улице, ломанешься от меня с ней – я тебя только так догоню. У меня с собой стреляющее шило. Классная такая штуковина.

Он обнажил в ухмылке зубы. Крепкие, блестящие, ровные, как на подбор, один к одному, белые зубы, как в Голливуде. Митя смотрел ему в рот. Лифт полз подозрительно долго.

– Ну что он, катафалк гребаный!.. – Варежка пнул железную исцарапанную дверь. – Еле тащится!..

Он нетерпеливо топтался перед железной дверью лифта. Он нетерпеливо рванул ее на себя, прежде чем железная лифтовая коробка оказалась напротив площадки.

Он занес ногу, перешагнул порог – и вместе с железным тесным бочонком ухнул вниз, вопя истошно, ввинчивая вой ввысь. Внизу раздался сильный грохот. Человеческий вой оборвался. Митя стоял с картиной под курткой и ошалело глядел в черный прогал, в пустоту, перебитую железными цепями и стальными костями, где мгновение назад затих навсегда человек Варежка, только что убивший человека Валерия Петровича.

Он вышел на улицу. Его шатало. Он нес картину под курткой. Он старался не глядеть людям в лица.

Он понимал: ему надо прийти к своим, в дворницкий дом в Столешниковом, и все рассказать. Кому? И что? И зачем, главное, ЗАЧЕМ он будет рассказывать?.. Ему надо молчать. Молчать, как рыба. Сцепив зубы. Или нет, наоборот, радостно, беспечно улыбаясь. Картина?.. Он пощупал медь под курткой. Ну и что, картина. Какая ему разница. Повесит у себя в каморе. Нет! Не повесит. Придут эти, как их, Гунявый и Шапка, и увидят. И надают ему под ребра от души. Гунявый ведь знает о картине. Варезка его посвятил в свои слесарные изысканья. Нет, он спрячет картину под кроватью... за свои холсты...

Падал снег. Тошнота опять подкатила к горлу. Валерий Петрович жил на Юго-Западе. Пока Митя добирался к себе на «Охотный ряд», он много раз зажимал рот рукой, чтобы его не вырвало прямо в вагоне метро.

Сонька-с-протезом вышла навстречу ему в распахнутом на груди халате. О, это что-то новенькое. Соблазняет?.. И безруким хочется счастья. Нет, просто забыла запахнуться. Она сгрела халат над ключицами в горсть.

– Митечка, ой, Митечка!.. – запела Сонька-с-протезом соловьем, даже голову закинула, всю утыканную папилютками – она закручивала жидкие волосы не на бигуди, а на газетные бумажки. – Тебя тут разыскивали!.. Ой, такие, знаешь!.. Четверо, в темных пальтах... шапки бараньи, темные... как они входную дверь открыли, ума не приложу!.. никто ведь им не открывал!.. и не звонили они... и кто им только ключ подсунул, таким страшным?!.. Они тебя, тебя спрашивали!.. Ой, и еще баба с ними!..

– Баба?.. – спросил Митя пересохшим ртом. Локтем прижал крепче медную доску к животу. – Какая еще баба?..

– Знатная бабец, Митька, ну, куда уж мне!.. Куда уж нам-то, горемычным!.. Красотка кабаре просто!.. Я прямо присела, когда ее увидела... ну вот те хрест, такая краля, ей бы в фильмах сыматься... про любовь...

– Рыжая?.. – выдохнул Митя. Под ложечкой у него похолодело.

– Ну, ты спросишь тоже!.. Она в таких мехах была – отпад!.. Сдохнуть от горчичника!.. Шапка, как митра, – во, песец голубой, таких в тундре стреляют на Аляске, не у нас...

– Что сказали?!.. Когда еще придут?!..

– А ничего... Потоптались и ушли... И я ничего не сболтнула лишнего, ты не думай!..

– Спасибо тебе, Сонечка. Ты золотая девочка.

Митя наклонился, поцеловал Сонькину изморщенную, всю в трещинах от соды и горячей воды, единственную лапку. Сонька-с-протезом подрабатывала судомойкой в ближнем кафе. Ее живая рука ловко собирала со столов чашки и блюда, как грибы, а мертвая помогала живой. Цирк, да и только.

Было уже за полночь. Он вошел в каморку. Закрыл дверь на ключ. Флюр, Рамиль и Гусь Хрустальный уже давно дрыхли. Они поняли: у него своя жизнь, он делает что хочет, – и не приставали к нему. Не спал только Янданэ. Когда он шел мимо его каморы, он увидел свет, сочащийся из-под двери. Монгол читал свои буддийские занудные мантры. Он подошел к голому столу. Не включал свет – голу, как в гестапо, лампу. Зажег свечу. Свет свечи упал на синий спичечный коробок, на солонку с горкой серой крупной соли, на дешевое, с синим стеклом, сработанным под сапфир, кольцо, купленное на вернисаже в Измайловском парке – туда он тоже ездил продавать свою мазню. Осветил маленький топор – он нашел его, когда колол лед около магазина «Восточные сладости». Кто его швырнул под дверь магазина?.. Выпал ли он из сумки мастерового человека, потерял ли его такой же, как Варезка, шедший с топором, чтобы... Не думать. Слышишь ты, не думать. Об этом думать запрещено. И Валечка умерла вовсе не от страха. И не оттого, что он слишком сильно прижал ее. Просто у нее было слабое сердце. Сердце слабое было.

Митя вынул из-за пазухи картину. Варежка лежит там, в лифте, на дне железной шахты. А он – вот он, живой. И картина – у него.

Он приставил медный квадрат к стене. Примерил: как оно будет смотреться. А ничего. Жалко раму. Мощный был багет. Старинный, судя по всему. Безграмотный Варежка. Зачем он его послушался.

Митя, в прыгающем свете свечи, подкрался к своим холстам, притиснутым к оклеенной газетами стене, и затолкал картину вглубь холстов. Смешно, конечно. Так ее любой... фраер найдет. Он усмехнулся криво. Фраер. Забавное словцо. Будто кличка кота. Такой пушистый кот, Фраер, с бантиком на шее.

Он сел на табурет перед столом и закрыл глаза. Он не хотел есть, не хотел пить. Он не мог спать. Свечной язык плясал перед ним. Перед голым столом, перед солонкой, синим кольцом и острым топором сидел совсем другой человек. У него шкура была другая. У него было все другое внутри.

Наутро он не пошел на участок – небывалое дело. Он выпался влать. Встал, умылся в грязной ванне, поставил чайник на грязной кухне. Похлопал старую Мару по загривку – она впотьмах, в коридоре, искала с похмелья вход в кухню, не могла найти. Мара, Мара, где только ты берешь копейку на выпивон. Крадешь, что ли, в Тверском гастрономе у зазевавшихся хозяек из карманов, старая кляча.

Воспоминая о картине придавало ему силы. Он думал о картине – и радость захлестывала его. От вчерашней тошноты и ужаса не осталось и следа. Труп Варежки там, в шахте... два мертвых старческих тела в квартире на Юго-Западной... Это сон. Это все лишь сон. Вся жизнь – это большой сон, то красивый, то уродливый. Его бедняцкий сон должен закончиться. Скоро он оборвется. И начнется прекрасная богатая явь. Даже штуки, жалкой штуки долларов хватит ему для того, чтобы безбедно прожить полгода в Москве, меняя баксы на рубли. А там... За полгода много воды утечет. И с ним случится счастливый случай. Ведь случился же он... теперь.

Он, умывшись и побрившись, попив пустого, без сахара, крепкого чая, похожего на чифир, придирчиво перебрал свою одежду, выбирая что попримечнее. Он сегодня назначил себе отдых. Пусть Королева Шантеклэра побесится вволюшку. Он отправлялся на вернисаж в Центральный Дом Художника. Он видел афиши давным-давно и запомнил. Игорь Снегур – вот как звали выставлявшегося художника. Митя понятия не имел, кто такой Игорь Снегур. Он увидел на афише фотографию седого, представительного красавца в бороде и усах и подумал: вот великий мэтр, а я жалкий салага, так пусть он меня научит уму-разуму, если я к нему приклеюсь. Надо же мне, наконец, приклеиться к московскому мэтру.

Он вышел из дворницкого дома, даже благоухая одеколоном – старая Мара, расщедрившись, дала ему пошлого тройного одеколону, побрызгаться, из своих неприкосновенных опохмелских запасов.

Центральный Дом Художника гудел, шуршал, шелестел, ахал, охал, восторгался, плевался, свистел, смеялся, шушукался, сплетничал, молчаливо замирал. Выставка Игоря Снегура, известного авангардиста шестидесятых годов, взбудоражила всю Москву. Мэтр не старел. Он как законсервировался в блистательной седобородой красоте, в юношеской живости подтянутого сухопарого тельца – низкорослый, с бородкой клинышком, с глазами как два бешеных свечных огня, Игорь работал как проклятый, как вол, выпуская из-под своей кисти, из-под неистового мастихина работы одну за другой. Он заваливал холстами посольства. Его полотна маститые галеристы показывали в Вене и Гамбурге, в Стокгольме и Нью-Йорке. На аукционе в Париже один его с виду невзрачный холстик продан за пятьдесят тысяч франков. Игорь был одним из самых богатых людей в Москве. Он не кичился богатством. Он, сменивший

четыре дома и пятерых жен, оставался все тем же – веселым, бесшабашным, безудержно щедрым, устраивавшим попойки и вечеринки для друзей с поистине царским размахом, дающим сколько угодно и всегда, в любое время суток и года, тому, кто нуждается и попросит – и чаще всего безвозмездно. Это была именно та жизнь, которая устраивала Снегура. Он был рожден для такой жизни. И Бог дал ему ее. И Снегур щедро платил Богу той же монетой – он работал на износ, на излом, еле успевал покупать краски, холсты, подрамники.

– Вы видели... видели... вон, на том холсте, справа?.. какое безобразие!.. Если искусство будет идти в эту сторону, и такими семимильными шагами...

– Бросьте! Художник создает свое пространство. Оно выше требований толпы. Толпа клянчит, канючит: сделай так, чтобы нам понравилось!.. А художник рычит: а выкусите!.. это вам понравится потому, что я – так!.. – сделаю...

Митя шатался от холста к холсту. Пялился, таращил глаза. Он понимал – он безмозглый щенок, и он не умеет в живописи ни черта. Надо учиться. А учатся вот у таких, как Игорь – он это тоже хорошо понимал. Ну не у арбатских же малеванцев, лелеющих на заливанных холстиках то сосенки и березки, то святого Георгия со змием, то обнаженную бессчетную русскую Венеру с дынными грудями и тыквенным животом, было ему учиться. Да, он уже был умен, если это понимал.

Около одного полотна он замер, не шевелился. Стоял как вкопанный. На холсте не было ничего, кроме линий и пятен. Абстракция чистой воды. Никаких фигур. Пятна, линии, плоскости складывались в музыку. Холст звучал. Митя слышал тихую музыку. Ему казалось – он сходил с ума. Испугавшись самого себя, он отступил от холста – и наступил на ногу маленькому человечку, тоже внимательно, рядом с ним, рассматривавшему картину.

– Недурно?.. – спросил человечек, вытянув палец вперед.

– Ого-го, – сказал Митя восхищенно. – Более чем. Я бы хотел так... писать.

Человечек повернулся к Мите живо.

– Вы художник?..

– Боюсь, что нет, – сказал Митя скромно. – Пытаюсь быть... стать им.

– Приходите ко мне, – сказал человечек и быстрее молнии выдернул из нагрудного кармана клетчатой ковбойки визитку. – Это не домашний адрес. Это мастерская. У меня квартиры нет. Мне мастерской достаточно, я там живу. Игорь меня зовут. Давай на ты. В общем, закончится эта бодяга, мой вернисаж, приходи, прямо сегодня вечером, посидим, выпьем, я потом к тебе в мастерскую приду, погляжу твои работы. Эй, эй! – замахал он руками, заметив когорту телевизионщиков с камерами в руках и журналистов с записными книжонками, надвигающихся на него угрожающе. – Ну вас к лешему!.. потом, потом... Ненавижу прессу и рекламу, – словно прося прощенья, повернулся он к оторопевшему Мите, – зачем человеку лишняя информация?.. кто ее ест, кто глотает ее?.. зачем я миру нужен?.. ну, картины, это да, а я-то тут при чем?..

Это был великий Игорь Снегур собственной персоной.

Митя слонялся по вернисажу допоздна, до закрытия Дома Художника. Потом погрузился в метро и поехал к Снегуру. Мастерская Снегура располагалась на Старом Арбате, в одном из живописных арбатских дворишков, особенно красивых сейчас, зимой, заснеженных, искристо-сахарных. Еще только подходя к мастерской, он услышал вопли, веселые крики, раскатистый смех, визги. Карнавальная ночь. Отмечают открытие выставки. Тут полна коробочка, и это все великие люди, высокие гости. Снегур художник знаменитый, у него в мастерской, уж верно, бывает избранное общество, не бомжи вроде него или Янданэ. Он трижды нажал на звонок. Звон вплыл ладьей в разливы и переливы смеха и тостов. Дверь распахнулась, чуть не сшибив Митю с ног.

– А! О! – завопил молодой упитанный человек, заросший бородой, как первобытный охотник, в римской шелковой тоге, с просвечивающей в складках ткани волосатой грудью, с кавказским рогом в кулаке. – Еще гость!.. Живо, ноги от снега отряхай, переобуться не надо, переобуешься на том свете в белые тапочки!.. Гоша!.. Гоша!.. Я не знаю этого Рембрандта!.. Что это за Микеланджело такой, а?!.. все мы тут, братан, – гении...

Он толкал Митю в спину, пока тот смущенно шел по коридору, сплошь увешанному картинами, и наконец втолкнул его в огромную, с высоким потолком, комнату, полную пьяного нарядного народа. Вокруг огромного стола, уставленного изысканнейшей едой – Митя такую только во сне и мог увидеть – и дорогими марочными винами и коньяками, толпились веселые и красивые, возбужденные выпивкой люди, чокались бокалами, поднимали рюмки, кое-кто – даже кубки, у кое-кого в руках были наполненные вином козы и бычьи рога. Прехорошенькая девочка лет восемнадцати металась около стола, подавала блюда, утаскивала, как мышь в нору, грязные тарелки, несла из глубин мастерской новые яства – красную икру в хрустальных салатницах, жареную миногу, паштеты, тонко нарезанную буженину.

– Знакомься, старик, – первобытный парень подтолкнул Митю к хорошенькой козочке, – Танечка Снегур!..

– Вы... дочка?.. – вежливо спросил Митя, наклоняясь с высоты своего роста к милой девочке. Она обиженно вздернула обнаженные плечики, высовывающиеся из смелого декольте.

– Я жена! – подняла она носик и скрылась в глубинах мастерской. Там, за спинами пирующих, должно быть, располагалась кухня, где готовилась еда, – оттуда вкусно пахло. Волосатый парень все так же, как глупого бычка, подтолкнул Митю к столу, налил ему рюмку коньяку, всунул в руку бутерброд с ветчиной.

– За Игоря, старик! – крикнул парень и поднял рог с вином над головой, и вино вылилось из рога и капнуло Мите на голову. – За гения русского авангарда! Гоша легендарный чувак, старик!.. И он еще не кончился!.. Он еще себя покажет будь здоров!..

– Спасибо, Слава! – крикнул с другого конца стола Снегур, ухватив за хвост тост. – Ты друг мой!.. я всегда это знал...

Митя оглядывался. Рядом с ним стояла – Игорь соорудил закусочный стол а ля фуршет – маленькая раскосая молодая женщина, похожая на японку. Она сильно подвела черной краской и без того раскосые глаза. Бурятка?.. Монголка, как Янданэ?.. Казашка?.. Какая точеная фигурка, как фарфоровая... Живая статуэтка была ростом ему по пуп. Он улыбнулся. Она подумала, что он улыбнулся ей, и, коснувшись его руки осторожным и вместе влекущим жестом, улыбнулась тоже. Она была слегка пьяна – ровно настолько, чтобы быть очаровательной и раскованной, дышащей, как раскрытый от влаги цветок.

– Вы художник?..

Ее голосок был тонок и робок. Речь – вежлива и проста. Он ей понравился, он понял это.

– Да. Начинающий. Я ученик Игоря. Дмитрий.

Он сам не знал, почему он ей наврал. Чтобы быть выше в ее глазах?.. Дворник со Столешникова такой дамочке не был нужен.

– А я мадам Канда. Я подруга Игоря. Я давно когда-то любила Игоря. А сейчас мы дружим.

– Канда?.. – Его брови взлетели.

– Я замужем за японцем. Мой муж крупный японский магнат. Он великий бизнесмен. Игорь великий художник, а Окинори Канда великий бизнесмен. Я могла бы выйти за Игоря. А вышла вот за Канда. И не жалею. Ничуть не жалею. – Она звонко, сухо рассмеялась – так раскатываются маленькие стальные шарики настольной японской игры. – Мой муж сейчас в Японии, я, к сожалению, не могу вас познакомить. Давайте выпьем, Дмитрий... на брудершафт?..

Она сама, твердой маленькой ручкой, налила красивого зеленого ликера в маленькие рюмочки – и протянула одну Мите. Митя взял рюмочку, как живого котенка за шкурку – осто-

рожно, напуганно. Рюмка в его руках задрожала. Мадам Канда, вздернув брови, смотрела на подрагивающую рюмочку. Зеленый ликер выплеснулся через край. Митя внезапно вспомнил зеленые глаза той невероятной женщины, что когда-то шла с ним по вечернему Арбату.

Он захватил рукой с дрожащей рюмкой руку мадам Канда. Они, смущенно смеясь, – над чем, над кем?.. над собой?.. – выпили ликер, неуклюже, как бычки, стукнувшись лбами. Надо было поцеловаться. Он приблизил к жене восточного бизнесмена позорно вспыхнувшее лицо. Шутка сказать, он до сих пор не научился краснеть, как школьник у доски, получивший двойку. Она раскрыла губы. Он наложил на них свои. Их языки соприкоснулись. Он целовал ее так долго, что они оба задохнулись.

Когда они оторвались друг от друга, его прошибла великая мысль. Он покажет украденную картину богатой японской цаце. Может быть, она сама или ее загадочный муж купят антикварную бирюльку. Ишь, Канда-сан, какие губки. Такие бы – целовать еще и еще. Да не про вашу честь, господин Морозов. Потешились, и будя.

Он неистово хотел продолженья. Поглядел на нее. Встретился с ее глазами. О, да и она тоже хотела.

Вокруг них гомонила роскошная вечерушка. Веселье расцветало, взрывалось смехом и криками, шло своим чередом. Там и сям звучали тосты – и торжественные спичи, и густопьяная бормотня. Художники расхристались вовсю. Первобытный мальчик Слава посадил на спину подвыпившую Танечку Снегур, как конь, и катал ее по гостиной. Сам Игорь, исчезнув на минуту в дальние комнаты, вылез оттуда в пушкинском цилиндре, к которому были прикреплены длинные павлиньи перья. Перья, отсвечивая темно-синими узорами с яркими золотыми глазками, блестя изумрудом и перламутром, мотались у Игоря на голове. Снегур выдернул одно перо из шляпы и, склонившись, клоунски-галантно преподнес зардевшейся от поцелуя мадам Канда.

– О, какая честь... Благодарю!.. Только я не знаю, куда его прикрепить...

– Павлинье перо нельзя дарить, Гоша, – назидательно, задыхаясь, сказал Слава, подгребший на четвереньках к мадам Канда, Снегуре и Мите, с хохочущей Танечкой на закорках, – павлинье перо, Гоша, знаешь, приносит несчастье... Человек, которому его дарят, может умереть в одночасье... И поэтому принявший подарок должен его... – он встряхнулся, как настоящий конь, и Танечка ударила его пятками по бокам, – ...передарить!

Мадам Канда испуганно оглянулась на Митю. Митя стоял нахмуренный, сердитый, будто бы разгневался на кого.

Он и правда весь будто взорвался изнутри. Какого черта он здесь?! Это все забавы богатых людей. Это все Иной Мир, и он – не для него. Пусть их девочки катаются на их горбах, пусть слизывают их икру с их бутербродов. Ему пора восвояси. В дворницкую. К лопатам и метлам. Вот что надо писать. А не хорошеньких голеньких дамочек, сидящих в гигантских морских раковинах, с жемчугами на пухлых шейках, с веерами из павлиньих перьев в кошачьих лапочках. Он до тошноты насмотрелся на такой китч на Арбате. Народ покупает дешевый китч. Богатеи жрут китч дорогой. «А это круто?..» – единственный вопрос, который они задают, рассматривая пошлейшую обнаженку в престижной галерее, и, когда им отвечают – десять тысяч баксов, они, не задумываясь, выкладывают требуемое на стол, хотя на Арбате той же поделке красная цена – пятьсот рублей. И арбатский нищий малеванец получит пятьсот, пойдет купит колбасы и выпьет. А модный живописец...

Он тряхнул головой. К черту! Мадам Канда сцепила перо в кулаке.

– Нет уж, я его никому не подарю, – весело и твердо сказала она. – Это мое! Я вставлю его себе в летнюю шляпу! Я произведу в Токио фурор!

Слава, с Танечкой на хребте, ускакал, озорно заржав, – жеребец, да и только. Танечка вцеплялась ему в волосы. Может быть, они спят все втроем, вчетвером, впятером, отчего-то зло подумал Митя. Шведские семьи. Таити. Никакого Гогена не надо.

Жена японца подняла к нему лицо. От ее губ одуряюще пахло дорогим ликером.

– Дима, – сказала она, и нежная улыбка взошла на ее губы.

– Митя, – поправил он. – Лучше Митя. Я так привык.

– Митя... – Она задохнулась. – Приходи ко мне. О, нет, никогда не приходи. Уходи отсюда сейчас же. И никогда не появляйся здесь. Я так хочу. Так будет лучше.

Он видел хорошо и ясно, как она испугана, очарована, пьяна.

– Мадам Канда, – сказал он и просунул руки ей под мышки, и сжал ее ребра, и слегка приподнял ее от пола. – Я хотел вас просить. Я сам хотел вас просить. Все это серьезно. Я не прохождимец. Я не подлец. Вы не думайте. Я художник. Я хочу вас написать. Обнаженной. Все упадут, умрут. Вы видели когда-нибудь «Венеру перед зеркалом»?.. Многие художники писали. Вернее, пытались написать. Одному Тициану удалось. Я видел только репродукцию. Сталин продал подлинник к чертям собачьим в Америку, из Эрмитажа. Весь Эрмитаж плакал горько. Я напишу вас Венерой перед зеркалом. Это будет черт возьми. Японская Венера. Почему вы так похожи на японку?!

Он притиснул ее к своему животу, такую маленькую, милую. Он боялся ее сломать. В его голове билась одна мысль: картина, картина. Он покажет ей картину. Он всучит ей картину. Не надо будет напрягаться, мыкаться по Москве, искать поганого антиквара. Антиквар обманет. Эта красивая сучоночка – никогда. Она в него уже влипла. Вклеилась, как муха в мед.

Она вскинула руки. Обняла его за шею. Отдернула руки, как от пламени. Отшагнула назад. Ее раскосое личико сделалось надменным, неподвижным, как у японской куклы, ротик сжался в красную брусничину.

– Я русская. Просто я слишком долго жила в Японии. Я привыкла так подкрашиваться. Чтобы там меня за свою принимали.

– Значит, вы притворялись?.. Лицемерили?..

– Мне так нравилось.

Она дышала так часто, взволнованно и хрипло, что он слышал ее дыхание.

– Мадам Канда, – сказал он, не трогая ее больше, не прикасаясь к ней. Он только глядел на нее. Он срывал с нее глазами все ее роскошные блестящие тряпки. – Я вас прошу. Это очень, очень важно. Вы даже не представляете, как. Приходите вы ко мне. У меня дома лежит одна вещь. Одна... картина. Я хочу, чтобы вы ее посмотрели. Это единственная дорогая вещь у меня. Она досталась мне по наследству. Она жила у нас в семье. Ее сохранили мои предки. Она не погибла во всяких наших войнах и революциях. – Он облизнул сухие губы. – Вы увидите ее. Я прошу вас, поглядите на нее. Она стоит того, чтобы на нее поглядели... именно ваши глаза.

– Мои глаза?.. Что могут сделать мои глаза?..

Он сдернул с нее взглядом последние шмотки. Она стояла сейчас перед ним голой. И она понимала это. Она стала пунцовой, даже шея у нее вспыхнула красным огнем.

– Не только ваши глаза, – сказал он прямо, без обиняков. Он не умел долго лебезить. – Ваши деньги, мадам. Я нуждаюсь. Если бы вы купили ее. Это очень дорогая вещь. Слишком дорогая. Музейная. Может быть, это сенсация.

Раскосая куколка, задрав головку, пристально глядела на него. Он глазами раздвинул ей ноги, глазами вошел в нее. Она задышала чаще, зашевелилась, задвигалась чуть заметно вперед, как если бы уже была под ним. Он глазами чувствовал, гладил ее кожу, ощущал жар ее женского пульсирующего нутра. Она маленькая, у нее все там, внутри, маленькое, тесное, жаркое, обнимающее его крепко и больно. Ее рот полуоткрылся, и взглядом он поцеловал ее рот.

– Вы колдун!..

– Я человек. Вы придете?.. Столешников переулок, дом напротив кондитерской, первый подъезд, квартира пять... не пугайтесь, там все на лестнице загажено... бомжи ночуют... и запах такой, кошки, моча – не для ваших ноздрей...

Ничего, понюхаешь, дамочка, весело подумал Митя. Ты привыкла обниматься с Токио, а тут приходится ложиться под грязную Россию. Но это и твоя Россия, мадам Канда. Твоя собственная. Твое родовое поместье, все в мусоре, снегах и дождях, в пустых ящиках и-под водки, ночью валяющихся, как деревянные скелеты, по всему Столешникову, и дворникам их надо старательно собирать и жечь, жечь. И костры встают – до черного холодного неба.

– Я приду, – сказала мадам Канда беззвучно. – Я верю тому, что ты сказал. Я приду. У меня самой дом в Токио как музей. Весь в старинной живописи. Я собираю живопись. Я и правда понимаю в картинах. Как ты догадался. Я полюбила живопись с тех пор, как мы с Игорем расстались. Я боюсь полюбить тебя. Я старше тебя на сто лет, мальчик.

– Не на сто, – сказал он, задыхаясь. Его колено коснулось ее живота, затянутого в блестящую праздничную материю. Едва он коснулся ее, она выгнулась и застонала. – На каких-нибудь двадцать пять, не больше.

Он надрался на той вечерушке у Снегура, и пьяный пошел провожать мадам Канда. От мастерской Игоря до «Арбатской» они шли, как раненый и медсестра с поля боя. Они добрались только до «Праги». Мадам Канда отцепилась от Мити, легонько ударила его по руке. Ее черные, раскосо подкрашенные глазки сияли под норковой шапочкой, иней высеребрил мех, ее ресницы, воротник драгоценной шубы.

– Не ходи за мной!.. Тут у меня машина на стоянке!.. Я доеду, а ты дойдешь!.. Пешком дойдешь... в милицию тебя не заберут... а то я не выдержу, увезу тебя к себе... Я приду к тебе посмотреть картину, слышишь?!..

Он глядел, как она топала каблучками изящных сапожек по свежему снежку.

Милая дама, богатая дама, думал он, доплетясь до Столешникова с грехом пополам, прогрохотав башмаками по коридору в свою камору, увалившись, не разуваясь, на нищенский топчан. Какая разница между бедной женщиной и богатой дамой?.. Да никакой. У всех у них есть глаза, губы, груди, пупок, женская дырочка. Если их раздеть и поставить в солдатский ряд – никакой разницы. Тогда что же дает людям разницу в бытии?.. Деньги?.. Мадам Канда свободнее дышит; свободней говорит; счастливей улыбается; имея владетельного мужа, может свободно развлекаться с такими молодыми люмпенами, как он. Ха. Значит, деньги – это свобода. И ему надо сбросить оковы. Скинуть кандалы. На щиколотках уже кровавые мозоли, но это не беда. Он, освободясь, побежит быстрее лани. Он не будет больше скрести лопатой Петровку. Он не будет больше жечь пустые ящики на углу Тверской. Он не будет просиживать часами на холоду и ветру, на кишашем глупыми и умными людьми Арбате: купите картинку, человечьи скотинки!.. Он не будет, унижаясь, вымалывать трущобной любви у Иезавель. Он, наконец, будет жить. И ему надо сделать только последний, самый важный шаг, чтобы начать жить.

А что ты сделал, чтобы жить, какой шаг был первым?! За тебя все сделал Господь Бог. Это Бог убил в падающем лифте Варезку. Это Бог всунул тебе в руки старую картинку, где мужчина и женщина бегут, спасаясь от возмездия, от огненного меча. Может, безделушка и вправду музейная? На черта она японцам?.. Мадам Канда... губы, перепачканные ликером...

Он дрых так беспробудно, что не услышал, как она вошла в каморку.

Ее пальцы нежно шекотали его сомкнутые веки. Он открыл глаза. Ее маленький пальчик провел по его небритой щеке, коснулся губ. Он поймал пальчик губами. Втянул в рот. Над ним наклонилось румяное, сияющее радостью лицо.

– А мне ваша соседка сказал, где ваша комната. Бедная женщина!.. У нее вместо руки – протез... Это вы... это ты здесь живешь?..

Она оглядывала камору с изумленьем и ужасом. Стол, застланный желтыми газетами. Немытый годами подоконник. Таракан, сидящий на краю тарелки, держащий в лапках хлебную

кроху. И картины, картины – и по стенам, и у плинтусов, и на самодельном кривом мольберте, что он сам смастерил из бросовых досок, из разломанных ярмарочных ящиков.

– Живу, живу я тут.

«Не буду жить никогда», – подумал он ядовито. Вскочил с топчана. Жена богатого японца подошла к окну. Посмотрела вниз, на кипенье утреннего Столешникова.

– Смотрите, как люди смешны, когда смотришь на них с высоты, сверху вниз... Ну, где ваше сокровище? Показывайте.

Он подошел к ней. Господи, какая малышка! Как девочка. Сколько ей лет?.. Сорок? Сорок пять?.. Больше?.. Есть крошечный двойной подбородочек, морщинки в углах ярких глаз. Богачки молодятся, втирают в рожицы кремы, ягодный сок, сливки. Он нужен ей как развлечение. Ну ничего, он с ней тоже подразвлекется. Оторвется он с ней. Это тебе не бизнесменша, якобы приставшая на улице к Рамилю, чистящему тротуар. Она – настоящая. И баксы он с нее сдерет настоящие.

Ого, он так и спал в одежде, в штанах, в обувке. Он совсем спятил. Просто очень устал.

– Почему ты говоришь мне «вы»? – спросил он тихо, стоя рядом с ней и не пытаясь ее обнять. – Ведь мы с тобой пили на брудершафт.

– Ты... – Она протянула руку и коснулась рукой его впалого живота, его ребер, торчащих под рубахой. – Ты очень красивый. Но не думай, что я в тебя влюбилась. Просто мне интересно посмотреть картину.

«Ври больше, – подумал он зло. – Тебе интересно тут же рухнуть со мной на этот топчан, но я этого не сделаю. Я хитрый. Я умный. Я буду делать все то, что говоришь ты. А потом, когда ты изнеможешь, я возьму тебя. У твоего благоверного в Токио вырастут рога и пробьют его японскую бизнесменскую шляпу». А вслух сказал:

– На, гляди. – Как будто: жри, лопай.

Он пошарил среди своих холстов, повернутых лицом к стене. Вытащил медную доску. Повернул – живописью к ним, их лицам. Поставил на стол. Зажег тусклую лампу под потолком. Бездарный свет ему не понравился. Зажег свечку. Бросил коробок со спичками на пол. Свеча замерцала перед картиной, высветляя темные фрагменты, заставляя тревожнее вспыхивать золотые, оранжевые плоды между темных масляных листьев, светиться пламенем костра распущенные волосы бегущей женщины. Митя миг полюбовался картиной, перевел взгляд на мадам Канда. Ее лицо замерло. Губы шевелились. Она глядела на картину так, будто там было изображено ее прошлое, ее родные – уже умершие, погибшие – люди.

– Ева бежит от смерти, от ужаса, – прошептала она. Поднесла руку с кружевным платочком к глазам. Расстегнула норковую коричневую шубку. – А Адам... о, как он беспомощен. В этом весь мужчина. Мужчины беспомощны. Они дети. Даже крупные политики, бизнесмены. Они никогда не зают, что делать. Женщина всегда несет Адама на плечах. Вы знаете... ты знаешь, она сорвала яблоко и накормила его не потому, что змей ее совратил. Она хотела его просто накормить. Просто накормить, понимаешь?!

Она плакала. Плакала и улыбалась. Он вытер ее слезы с лица ладонью.

– Прости, я сентиментальна, – сказала мадам Канда и сердито растерла платочком щеку. – Всегда ругаю себя за слезливость! Я тебе разонравлюсь. Но это мне все равно. Я старая баба. Ты молодой. У меня было много любовников. Не вздумай говорить, что у тебя была куча любовниц.

– У меня была куча любовниц, – быстро сказал он. Они расхохотались оба.

Потом он снял с гостя шубку, сбегал на кухню, вскипятил чайник, они попили чаю из граненых грязных стаканов – отнюдь не пустого, мадам Канда принесла к чаю булочки с кремом, бутерброды с ветчиной и шоколад, – завернули картину в наволочку, сдернутую с облепленной куриными перьями подушки, перевязали бечевкой и, одевшись, понесли ее на

экспертизу в музей изобразительных искусств имени Пушкина. Так решила мадам Канда. Митя был умный, а она была еще умнее.

И он ни разу больше ее не поцеловал. И она не поцеловала его. Они только пересмеивались, перебрасывались пустыми веселыми словечками, улыбались друг другу, обжигали друг друга быстрыми взглядами. Они шли по зимней Москве, по Тверской, по Моховой, по Волхонке, наступая на хрустящие снеговые комья, шурясь от солнца и цветных искр инея, оживленно болтая о всякой ерунде – как там в Японии, да что едят, как держат в руках эти палочки, марибаши, вилкой же удобней, а молятся Будде?.. а телевизоры там со спичечную коробочку – есть?.. Они оба словно затаились, как два хищных зверя. Они оба, безмолвно сговорившись, ждали ночи.

Экспертша Пушкинского музея, прямая, сухая седая старуха, рассматривавшая целых два часа картину вместе с двумя такими же старыми оглоблями, вооруженными очками, лупами, лампами-софитами и всевозможной техникой, названий которой не знали ни Митя, ни мадам Канда, вышла навстречу им обоим, скромно сидевшим на пуфике в коридоре музея, с поджатыми строго и властно губами. «Я вынуждена вам сообщить, милостивые государи, что это подлинник, – надменно и важно проскрипела она. – Это подлинник, господа, и у музея сейчас нет денег, чтобы купить его у вас, и, думаю, не будет таких баснословных денег ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Музей беден. Бедней церковной мыши. Мы не знаем, кто и как будет нам, старухам, завтра платить жалованье, господа. И будет ли». Вот как, съела, подумал он, повернувшись к мадам. Это наша Россия. Это тебе не токийские рауты, где ты ешь крабов и трепангов, иноземная баба с жемчугом на шее. Зарплату теткам не платят! «А... кто автор?..» – робко, как ученик, спросил он. Мадам Канда вся дрожала. Засунула ручки в муфту. В коридоре музея стоял лютей холод. Седая гранд-дама окинула его надменным взглядом из-под спущенных на кончик носа очков. «Тенирс, дорогой господин. Тенирс. Первая половина семнадцатого века. Именно Тенирс работал маслом на меди, на медной доске. На международном аукционе такая работа может потянуть на несколько миллионов долларов, Тенирс ведь сейчас очень редок, так же, как и Вермеер, находка его работы равносильна открытию. В Голландии работали тогда два Тенирса; один – мастер, другой – послабее, подмастерье. Ваша картина – кисти того, ценящегося. Господа, я должна вас предупредить, будьте предельно осторожны. Ваша жена должна быть все время под вашим присмотром. Не отпускайте ее от себя ни на минуту. Никому не говорите о работе. Это ваша тайна. Вы поняли?..» Митя потупился. «Она мне не...» Мадам Канда ткнула его локтем в бок. «О да, спасибо, мы будем делать все, как вы сказали, и муж будет меня беречь. Конечно, я понимаю ценность этой вещи, она семейная, она...» Она задохнулась. Отвернула воротник шубки от подбородка. «Я понимаю, сейчас мир такой преступный... всюду царит криминал...»

Митя снова положил картину в наволочку, закутал, завязал. Они оба пошли вон из музея, задыхаясь от ужаса, счастья, неожиданности, жажды скорей добраться домой и, раздевшись догола, влиться друг в друга, войти, вонзиться. Старая экспертша провожала их долгим суровым взглядом. Она слишком много знала о том, что владеть сокровищем безнаказанно нельзя.

Японские куклы с полок и стен смотрели на них. Японские куклы шептались меж собой. Японские куклы протягивали к ним маленькие игрушечные ручки. Красный бумажный фонарь легко покачивался на сквозняке под фарфоровой головой смешливого божества Дарумы, и внутри фонаря горела живая свечка, не лампочка.

– Тише!.. тише... обними меня...

– Давай я войду в тебя вот так... повернись...

Она, маленькая, хрупкая, гибкая, как краснотал, изогнулась, ловко повернулась под ним. Разогнула, развела маленькие, казалось, фарфоровые ноги. Ее спина, сведенные потные

лопатки, круглый нежный зад маслено блестели в красном свете фонаря. Он, с восставшим мужским копьём, лег на нее, вонзился в нее резко, до тайной кровавой глубины, чувствуя себя самураем. Они, слившись снова, застонали. Он стал двигаться в ней – медленно и властно. Она, корчась от боли, сладости и страсти, кричала под ним.

– О!.. о... я умираю...

– Ты живешь, Анна... ты живешь... это жизнь...

Мадам Канда звали Анной. Он узнал об этом в постели.

Они обнимались, а куклы смотрели. Куклы были соглядатаи. Он просунул руки женщине под живот, стараясь втиснуть себя глубже в нее, большее, непреложней. Он насадил ее на себя, как курицу на вертел, охватил ее огнем. И она сгорала. Голая она была совсем молодая, молодое у нее было тело, а морщинок на ее лице он не различал в пылу соитья, в поту и криках, в свете багрового бумажного фонаря, качающегося на ветру – Анна открыла балкон, спасаясь от постельного огня, от духоты. Она таяла и умирала, он это видел. Он отдалял свое наслаждение. Он хотел, чтобы она совсем сошла с ума.

– А теперь так... нет, отдохни...

– Я не хочу отдыхать... иди ко мне!..

Она рванулась из-под него. Он лег на спину. Она встала на колени над ним, ее ноги смугло мерцали по обе стороны его лица. Снизу он видел ее пушистые черные волосы, прикрывавшие ее раскрытую влажную красную живую раковину. Он вскинул голову и припал к раковине губами. Запах соли, моря, вскрытой устрицы ожег его ноздри. В Японии есть ныряльщицы за жемчугом, ама. Он тоже сейчас нырнет за жемчугом. Ртом. Губами. И он найдет его. Вот уже нашел его. Вот он взял его в губы.

Анна кричала уже безостановочно. Он взял ее крепкими руками за талию и одним рывком посадил ее на себя. Он поднимал и опускал ее обеими руками на себе, будто куклу, будто бы она была его куклой для любви, орудьем сладострастия, а не живой женщиной. Он ударял в нее снизу, сильно и властно, закрыв глаза, до тех пор, пока она не начала содрогаться в неистовой и бесконечной пляске. Приступ красного безумья тут же сотряс и его. Они, вплавившись друг в друга горячим металлом, содрогались вместе, и из ее груди вырывались уже не крики – хрипы. Она рухнула на него, ему на залитую потом грудь, выдохнув из груди последний воздух. Он еще нашел в себе силы вобрать губами ее губы, как клубнику.

– Анна... Анна...

– Что?.. ничего не говори... меня здесь нет... я на небесах...

Он опрокинул ее на кровать навзничь. Наклонился над ней. Она отвернула от него лицо. Ее глаза были закрыты.

– Я вижу тебя и с закрытыми глазами...

Картина, перевязанная грубой дворницкой бечевкой, стояла в углу за креслом. Они тут же забыли о ней, когда явились сюда, к мадам Канда домой. Она жила в фешенебельном доме на проспекте Мира. Они домчались к ней из Пушкинского музея на ее машине, – она вела новенькую «мазду» сумасшедше, безоглядно, как хулиган-лихач, – влетели в квартиру, еле успели раздеться. Постель уже была застлана изысканнейшим кружевным бельем с запахами лаванды и мяты. Анна загодя позаботилась обо всем.

– Ты хочешь пить, Митя?.. у меня есть прекрасный апельсиновый сок... я люблю апельсин, грейпфрут... налить тебе?..

Она вскочила с постели. Двинулась к столу. О, а он-то в горячке страсти и не заметил, что и стол накрыт. И богато накрыт. У мадам имелся вкус. В хрустальных салатницах – салаты из крабов и кальмаров. Отбивные, уже остывшие. Белое вино, коньяк. Разрезанные на смешные треугольные дольки помидоры. И в блюдечках – горки икры, красной и черной, и сверху ломтики лимона на икре лежат. Просто Новый Год какой-то. Когда и где ты видел на столе красную икру, Митя?!

Митя, стоп, очухайся, у тебя любовница – жена японского бизнесмена. А вдруг бизнесмен сейчас прикатит, откроет дверь своим ключом и так даст тебе по котелку, что ты на всю жизнь останешься придурком.

Он сладко потянулся. Оперся головой на подушку. Взял у Анны из рук бокал, наполненный желтым соком.

Она держала в руках рюмку с коньяком.

– Сок я уже выпила. Прямо из кувшина. – Она весело улыбалась. Она была красива, как японская принцесса. Румянец, блеск черных глаз, губы улыбаются, зубы как жемчуг, грудь торчит, живот гладкий, как щит. Бред, все бред. Это ему все снится. – Я буду пить коньяк. За тебя!

– За тебя, – сказал он и залпом выпил сок. Поставил пустой бокал на пол, рядом с кроватью. Пристально посмотрел на нее. – Анна. Ты правда так богата?..

– Митя, Митя. – Она опрокинула над губками рюмку с коньяком, зажмурилась, отдышалась. Ее зубы снова заблестели между губами в сумасшедшей улыбке. На вид ей можно было сейчас дать лет двадцать, не больше. – Неужели ты первый раз в жизни видишь богатую женщину?..

– Первый. – Что толку было врать. А та, с зелеными глазами, с изумрудами в ушах, там, на Арбате?.. Зачем он вспомнил о ней. Не надо. – А что, тебе странно, что мужик бедный? Ты общаешься только с богатыми мужиками?

Она перевернула рюмку и поставила ему на живот, как детям ставят банки. Расхохоталась. Согнулась и поцеловала его в грудь – в один сосок, в другой.

– Я общаюсь со своим мужем, дурачок. Мне хватало мужа. А теперь вот буду общаться с тобой.

– До тех пор, пока муж не приедет?..

Румянец внезапно ушел с ее щек прочь. Она наклонила голову, как цапля, и внимательно посмотрела на него, будто изучая. Восторг исчезал из нее, поднимался над ней, как дым.

– Это я должна ехать к нему в Токио.

– А эта квартира?..

– Хочешь, я тебя в ней поселю?.. Это наша московская квартира. Муж купил ее для меня. Только для меня. Чтобы я жила здесь время от времени, в России, и не скучала особо. Мы же постоянно живем в Японии. Знаешь, ностальгия – это не выдумки. Это настоящая болезнь. Когда я заболеваю, муж привозит меня сюда. Это... ну, как аспирин от гриппа. Хочешь, живи здесь. Тебе здесь будет хорошо.

– А моя работа?.. Ты же все видела. Я дворник. Ты меня станешь содержать?.. Я стану... твоим...

Она положила пальцы ему на губы. Он отбросил ее руку. Вскочил с кровати. Нашарил в кармане сброшенных в порыве страсти около ложа потертых джинсов пачку сигарет, спички, закурил. Мадам Канда сидела в постели в позе лотоса. Печально глядела на него. Хоть пиши с нее портрет, раздраженно подумал он. Хоть пиши портрет! А впрочем, то, что она предлагает, заманчиво!

– Купи картину, Анна, – холодно сказал он и глубоко затынулся. Выдохнул дым. Кольца дыма, тая в полумраке, вились над их головами, над красным фонарем, уходили к потолку, к хрустальным листьям люстры. – Купи. Ты богата. Ты повесишь ее в своем доме в Токио. Ты будешь глядеть на нее и вспоминать меня. И я не буду альфонсом. Я буду жить на свои деньги. Понимаешь?! На свои. Потому что ты у меня купишь произведение искусства. Мое. Принадлежащее мне. Все будет честно. Все будет как надо. Ты слышала, что сказала та старуха, из Пушкинского?!.. Через полвека она будет стоит не миллион долларов, а миллиард. Твои внуки оторвутся по полной программе. Ты не прогадаешь.

Она вынула у него пальчиками из губ недокуренную сигарету, бросила на паркет.

– Ты дура!.. будет же пожар...

– Пожар уже случился. Все уже сгорело. Моя жизнь сгорела. Да, я куплю картину у тебя. Конечно, куплю. У меня весь мой дом там, в Токио, завешен старинной живописью, старыми мастерами... У меня денег здесь, дома, нет... все деньги на счету... я сниму... мы вместе пойдем, утром... да, да, оставляй картину здесь, да, я покупаю ее, да...

Она подняла с полу Митин окурок, схватила с журнального столика зажигалку, всунула в губы, вдохнула едкий дым. По ее щекам текли, текли мерцающие красные, как кровь, в свете бумажного фонаря, обильные слезы.

Они спали долго. Отсыпались после любви. Они не спали обнявшись. Они спали странно и горько: Митя – отвернувшись к стене, по которой, на полочках и подставочках, были в изобилии рассажены куклы в шелковых кимоно, с огромными бантами на загривках, Анна – поперек широкой кровати, свесив одну ногу вниз, уткнув черноволосую стриженую голову Мите под мышку. Проснувшись, они не знали, что делать. Снова любить друг друга?.. Митя неловко сунулся к ней. Она припала было к нему, обожгла губами, потом отпрянула, сухо бросила: ты получишь свой миллион. Он нервно засмеялся. Все происходящее все больше казалось ему бредом. Вот сейчас кончится сон, и он проснется в своей прокуренной каморе, и Флор Сапбухов будет стоять над ним, как Командор, и заунывно канючить: ну вот, ты проспал, ты надрался и проспал, а Рамиль опять за тебя все вычистил, к лешему, и сдал участок!.. Он натянул джинсы и уселся за стол. Мадам Канда оттаяла, заботливо кормила его, наливала ему в чашечку горячий кофе, подливала из молочника сливки. Так вот как завтракают в богатых домах, изумлялся он, глотая неземную еду. И, если у него будет теперь на счету миллион – как же, держи карман шире!.. так и будет у тебя, дурень Морозов, и счет, и миллион!.. – он тоже будет есть по утрам такую еду. Бред! Никогда такой еды он есть не будет. Как пристально, тоскливо глядит на него мадам!

– Анна, Анна...

– Ешь, ешь...

Когда он ел, жадно глотал, быстро жуя, обозревал великолепия стола радостно-потрясенно, как ребенок в волшебной пещере, она опять не могла сдержать слез. Господи, молилась она беззвучно, сделай так, чтоб он больше никогда не стал нищим. Чтоб он не промотал, не прожег, не потерял, не проиграл те деньги, что я ему дам сегодня. Картина стоит миллиона баксов. Сколько стоит ее безумная, глупая любовь, вспыхнувшая на старости лет к этому наглому бедному юнцу, что жрет сейчас ее еду, зыряка глазами по столу – чего бы тут еще стащить, отправить в голодный рот, что он еще не попробовал?!.. Теперь ты будешь пробовать все, мальчик. Теперь ты будешь жить. А она полетит ближайшим рейсом в Токио. И будет умирать. Разлука убивает новорожденное чувство. И деньги тоже. Она заплатит ему за эту ночь, как платят жиголо. Она заплатит ему миллион.

Они поехали в ее банк. Митя впервые переступил порог банка. Ого-го, как чисто, как в больнице!.. И всюду мраморы. Ну, музей, да и только. А вот здесь мрамор красный, с мясными кровавыми разводами, как на станции метро «Проспект Мира». А вот здесь, в этом зальчике, – кафель, как в бане. Мадам Канда, ослепительно улыбаясь, маленькая, юркая, прошептывала к заветному окошечку. «Молодой человек желает открыть счет!.. Митя, у тебя паспорт с собой?..» Она побледнела – думала, при нем паспорта нет. Он вытащил ксиву из кармана дворничкой куртки. На всякий случай он никогда не расставался с паспортом, где красовалась временная, шлепнутая в РЭУ, московская прописка, его краса и гордость. Прелестная, как японская куколка, банковская девочка за стеклом улыбнулась ему, прошептала что-то, летая ручонками над клавишами компьютера – он не расслышал. Потом мадам Канда заполнила какие-то бумаги, засовывала их в окошечко, таинственно наклонялась туда, объясняя что-то, смеясь чему-то. Со стороны могло показаться – подружки встретились, щебечут, сви-

ристят, как соловушки, перемывают косточки мужикам. Наконец, мадам выпрямилась. Глаза ее странно сияли. Она заставила его подписаться – там, сям. Он послушно, как телок, поставил закорючки. Она властно взяла его под руку. Увела от оконца, от улыбнувшейся на прощанье девицы. Сунула ему в руку папку, плотно набитую бумагами. И две твердых непонятных карточки – одну побольше, другую поменьше, с вязью неведомых цифр, с перламутровым блеском узоров.

– Твой счет, Митя, – шепнула она, глаза ее наполнились слезами, улыбка дрожала. – И моя картина. Ну да, ты оставил ее у меня дома. Хочешь, купи теперь мою квартиру. У тебя теперь есть деньги. Ты можешь... – горло ее перетянуло невидимой петлей, – всю жизнь жить на них.

Он глупо прижал папку с банковскими документами к груди. Посмотрел на нее сверху вниз, с каланчевой высоты своего идиотского роста.

– Зачем жить, – пробормотал он. – Надо не жить, а сразу красок закупить, холста, подрамников, пинена, вместо живичного скипидара, собака, он мне все легкие проел. И работать, работать.

На углу Тверской и Столешникова они бросились друг другу на шею. День царил, солнечный, золотой, ясный, как в старом бальном зале – люстры, свешивались с деревьев сверкающие ветки, осоленные инеем. На лютном морозе он ближе, страстнее почувствовал жар ее щек и губ, ее пылающее тело под шубкой.

– Встретимся сегодня?.. – выдохнул он ей в черный завиток над ухом. – Я приеду?..

Она откинулась назад, держа руками в пуховых рукавичках его за плечи.

– Дворник ты мой, – нежно, как птичка, чирикнула она. – Ты теперь у меня богат. Ты можешь провести сегодняшней вечер по своему усмотренью. Но прости меня. Сегодня я хочу побыть одна. Хоть мне смертельно хочется быть с тобой. Я должна побыть одна! – крикнула она внезапно. Помолчала. – Лучше позвони.

Он кивнул. Выпустил ее. Она полетела, как птица, по асфальту, присыпанному снегом, стуча каблучками по наледи, катясь в сапожках по ледяным черным дорожкам, как на коньках. Японка, мать ее. Русская шлюшка, сделавшая головокружительную карьеру. Осыпавшая его золотом. Неужели ему не надо будет завтра вставать рано утром, нахлобучивать на себя дворницкую робу, взваливать на плечи лопаты и лом, скрести жесткий, как наждак, смерзшийся снег в рассветной сизой тьме до одуренья?.. Флюр обделается. Рамиль упадет и задерет ноги. Янданэ запрется у себя в комнатенке и будет обиженно читать мантры. А Гусь Хрустальный... А Гусь Хрустальный пойдет, купит чекушку и выпьет с ним за жизненный успех. От души. И выкрикнет: да, повезло тебе, брат!.. Как никому...

Митя добрал до дому, как пьяный в дым. Заплетаясь, поднялся по лестнице. Как сквозь туман, глядел на соседей. Видел беззубую Мару, видел Соньку-с-протезом, окутанных нежной дымкой миража. Да, да, все это сон, и сейчас он проснется, ущипнет себя и проснется. Он поднес кулак ко рту, прикусил палец. Больно. Это не сон. И во сне можно прикусить палец, и во сне течет по кулаку кровь. Пропади все пропадом. Он богат. Он богат, как звезда! Он остается в Москве! Он покупает здесь жилье! Он может купить весь этот дворницкий старый дом в Столешникове, весь, со всеми чердаками и подвалами, со всеми потрохами! Со всеми жильцами!

Он ввалился к себе в камору, упал на топчан. Пружины скрипнули, резко взвыли под ним. Перед закрытыми его глазами проносились лица, фигуры, языки пламени, россыпи зеленых баксов, смуглело на простынях изящное, как статуэтка, бешено-страстное женское тело, качался красный китайский фонарик. Нет, ты не спишь. Ты живешь. Это явь. Прими ее. Возрадуйся ей.

Он так и не вылезал из каморы весь день. Он закрылся. Ему стучали в дверь. Он слышал сердитый голос Флюра, выкликавший его: «Эй, Митяй!.. Да ты же дома, я знаю!.. Я же слышу твое сопенье!.. Ты, козел, открой!.. Тебя тут Королева Шантеклэра разыскивает, ругается, почему утром на участок не вышел!.. Жалованье тебе урежут!.. Грозится прописку аннулировать!.. Будешь вот опять бомжом, с волчьим билетом будешь по Москве мотаться!.. Перебрал где, что ли?!.. у, пьянь... Богема... худо-о-ожник...» Шаги приближались, удалялись. Он лежал в оцепененьи. Он не спал. Он думал. Он погружался в сизый дым ужаса и счастья.

Как все быстро произошло. Он и не успел оглянуться.

Неужели она так любит его?!

Это плата за одну ночь с тобой, дурак. Это она заплатила тебе. И простилась с тобой. «Лучше позвони!» Тебе ясно дали понять, что не желают тебя больше видеть. А то потом, позже, не оберешься неприятностей. У нее муж. У нее другая жизнь. У нее дом в Токио, поместье в Саппоро, хата в Москве, ранчо в Калифорнии. На черта ей уличный мальчик, московский дворник, поганая лимита. Она сунула ему милостыню и сделала его не лимитой. Хороша милостыня – лимон баков. И все же она не сделала тебя своей ровней. Ты не аристократ. Ты не богач. Ты просто жалкий парвеню, переспавший с сумасшедшей богатой бабой. Ты был ее прихотью. А деньги? Мильоном больше, мильоном меньше – какая ей разница. Сытый голодного не разумеет.

Стемнело. Сумерки вползали в закуток – сперва сизые, потом лиловые, потом синие. Потом бесшумно вошла черная ночь. День был солнечный, а ночь наступила ясная, полная могуче горящих колких звезд. Звезды висели над инистыми крышами, вонзались в глаза. Он встал с топчана, размял затекшие ноги, руки. Ночь. Вот и еще одна ночь. Ты уже богатый человек, Митя. Ты уже можешь все. Тебе ли бояться ночи.

И странный страх медленно, тихо вползал в него. Он подошел к двери, открыл ее. Нет, на пороге, в коридоре никого не было. Все спали. Завтра рано подниматься. Все его кореша спят. Не подышать ли ему воздухом, на прогуляться ли ему. Так хорошо брести ночной Москвой, закидывая голову, глядя на россыпи звезд. Пройдись, Митя, ты обалдел в духоте, в тесноте. Не потеряй свои банковские карты. Вот они – в кармане куртки, там, где паспорт.

Он воткнул худые ноги в башмаки, зашнуровал их, напялил на башку дворницкий холщовый хлем, хлопнул дверью. Улица схватила его в объятья крепкого мороза, стиснула так, что ребрам стало больно. Он еле смог вдохнуть ледяной воздух. Если плюнуть – слюна на лету замерзнет. Колотун как в Сибири. Какая разница, где ты живешь. Хоть на Аляске. Лишь бы ты был богат. И свободен. Свободен!

Он, скользя, балансируя на льду, как канатоходец – на канате, пошел по выдубленным морозом улицам – по Столешникову, по Тверской, вышел на Красную площадь. Кремлевская красная стена горела заиндевелыми зубцами. Храм Василия Блаженного будто висел над мостовой в призрачной морозной фате. Мите показалось – храм летит навстречу ему, как огромный страшный корабль, Летучий Голландец, и сейчас наплывет на него, подомнет под себя, раздавит, пропорет форштевнем. Красные, зеленые, желтые полосы на куполах вспыхивали Северным Сияньем. Тусклая позолота била по глазам. От одиночества мертвого храма, видевшего на веку столько рожденных и погубленных жизней, хотелось плакать. У Мити на глазах показались слезы и тут же на морозе высохли. Он утер нос рукой в дворницкой рукавице.

– Черт побери, – сказал он жестко, – ведь и храм теперь тоже мой. Я же уже житель Москвы. Я напишу икону и повешу в нем. Это подарок. Икону... святой Анны...

И тут он услышал сзади себя шаги. По морозной мостовой кто-то шел к нему. Он застыл. Он боялся обернуться. Давешний страх снова сковал его.

Рука легла ему на плечо. Пальцы сдавили его мышцу под курткой.

– Привет, дорогой, – услышал он нежный и звучный женский голос. – Не взглянешь на меня?..

«Проститутки, – подумал он злобно, – что они делают тут ночью в такой морозище, не боятся отморозить себе задок и передок. Ведь, небось, в капронах и исподних кружевах шастают, для соблазна, без шерстяных трико. Идиотки». Он обернулся. Чтобы не закричать, он вдохнул ночной воздух в себя, и мороз, как наждачный кляп, забил, оцарапав, ему горло. Перед ним стояла та, назвавшая себя на Арбате Дьяволом, рыжая, зеленоглазая. Песцовый мех топорицился вокруг ее розового подбородка. Она на жутком холоду красовалась без шапки, и рыжие густые, чуть выющиеся волосы слегка поблескивали в фонарном свете, осеребренные мелкими кристаллами инея.

– Гуляешь, Митя, – пропела она насмешливо, – размышляешь о жизни?.. Да, жизнь чертовски смешна. Чего ты от жизни хочешь?.. Ты все получил – или желаешь чего-то еще?.. Мало тебе?..

Он почувствовал, как по его спине, под майкой, под рубахой и курткой, течет горячий, тут же становящийся холодным, пот.

– Чего вам надо от меня?! – резко бросил он и смахнул ее руку с плеча. – Я вас не знаю! Вы меня не знаете! Вы меня с кем-то путаете! Уйдите!

– Ах, Митя, Митя, – проворковала рыжекосая, качая головой, вытаскивая руку из варежки и беря его за руку. Она сжала его руку, и он ощутил, как вся кровь бросилась ему в лицо, взорвала сердце. Бешенство охватило его. Он хотел ударить ее – и не смог. – Дурачок ты, Митя. Будто ты не знаешь, что тебе надо дальше делать. Ты ведь все знаешь. Сам все знаешь хорошо.

На миг перед ним мелькнуло растерянное, испуганное, с открытым в крике ртом лицо мадам Канда. Ее закинутая голова в подушках. Ее посинелые щеки, выпученные глаза. Страшное лицо Анны заслонила картина. Золотые яблоки, апельсины в мрачно-изумрудной листве. Отблескивающие в свете китайского фонарика мазки старого голландского масла. Он хотел вырвать руку. Рыжекосая держала крепко, как мужик. Он подумал со страхом – уж не каратистка ли она. Того и гляди, через плечо перекинёт.

– Вы... о чем?! – крикнул он. Рыжая улыбнулась широко. Жемчужные зубы ее сверкнули, как кинжал.

– О том, что ты сам хочешь сделать. Хочешь, но боишься. Ведь ты хочешь, чтобы ничто не закончилось. Чтобы все у тебя только начиналось. Возьми свое сокровище. Верни его. И ты пустишь его в оборот. И ты заставишь его работать на себя. Ведь ты же умный мальчик. Иди, ступай...

Она замолчала. Он снова увидел перед собой беззащитное, неподвижное, распластанное по постели тело мадам Канда. «... убей ее и возьми картину», – услышал он голос внутри себя. Это сказал рыжая?! Это сказал он сам?!

– Bravo, bravo, ты умный мальчик. Метро еще работает. Еще только полночь. Ты доедешь до проспекта Мира. Доберешься. Ты все сделаешь как надо.

Она выпустила его руку и толкнула его в грудь. Он поскользнулся, чуть не упал на скользкой подмерзлой брусчатке. Куранты за его спиной пробили двенадцать раз. Звезды сияли над башнями, над их головами нестерпимо, радужно-слезно. Млечный Путь прозрачным мафорием опоясывал черный свод.

– Я не хочу ее убивать! – задушенно крикнул он. – Какой бред! Ты снишься мне! Я перепил!.. я спятил от этих чертовых денег... я болен...

– Ты не болен, мальчик, ты изумительно здоров, – ее голос стал резкий, жестким. – Езжай и действуй. Я приказываю тебе. Я...

Она приблизила розовое, гладко-румяное лицо к его лицу. Зеленые длинные, с поволокой, чуть сонные, нагло смеющиеся глаза обдали его холодом приговора.

– ...я искушаю тебя, – раскрылись ее губы у самых его губ, дрожащих от бессилья, ужаса, отвращения. Она взяла его голой рукой за щеку. Он дернулся, как от ожога. Закрыв глаза. Когда

он открыл их, он увидел, как она быстро шла, несомая морозным резким ветром, по гладкой брусчатке площади в сторону храма Блаженного, полы ее песцовой шубы относил вбок ветер, рыжие волосы пламенем развевались во тьме.

Он не помнил, как он спустился под землю. Он не помнил, как ввалил свое тело в вагон поезда. Не помнил, как ехал, шел. Он очнулся лишь перед дверью квартиры мадам Канда. Ночь. Час ночи. Она спит. Он должен позвонить?! Нет. Он должен... Он откроет дверь сам. Чтобы она не слышала. Он взламывает дверь.

У тебя же нет никакого опыта! Ты же не взломщик!

Я мужик. Что я, хуже покойного Варезки, что ли. Я это сделаю так, что комар носу не подточит. Я знаю ее замок. Я сам открывал его, когда мы утром уходили в банк.

Он вытащил из кармана связку дворницких ключей – от входной двери на Столешниковом, от каморы, от дворницкой каптерки, где хранились метлы и лопаты, от подвала, от кладовки в РЭУ. Громадная связка. Ванька-ключник, злой разлучник. Сейчас он выберет. Он подберет такой, чтобы подошло.

Ему и ковыряться не пришлось. Ключ, выбранный им, странно, жутко-легко вписался в резьбу Анниного замка. Он открыл дверь беззвучно, артистически, без науги, как профессиональный вор-квартирщик. Вошел в прихожую, так же беззвучно стащил с себя шмотки и обувь. В носках, бесшумно, потирая заолодавшие руки, прокрался в спальню мадам Канда. Она спала лицом вверх, раскинув руки, голая, без одеяла – одеяло, сброшенное, лежало на полу: у нее дома хорошо топили, было жарко, душно даже. Ее смуглое грациозное маленькое тело впечаталось в его зрачки, как негатив. Когда он проявит его?! Она не проснулась. Она только пошевелилась и вздохнула во сне.

Он повернул голову. Картина уже висела на стене, и уже одетая в роскошный, роскошнейший – лучше того, прежнего, массивного, но обветшалого, что остался у убитых стариков – багет. Успела заказать. Прямо напротив кровати висела картина – чтобы, проснувшись, сразу увидеть, как в панике бегут из чудесного Рая простые, нищие, нагрешившие люди. Из царского Рая – вон – в вонючих шкурах, босиком, с ножами на поясе, чтобы отбиваться в огромном жестоком мире от злых зверей, от злых людей. Миллион долларов! Так вот что такое Рай!

Он тихо, на цыпочках, подобрался к кровати. Женщина спала. Как она сладко спала! От подушек, от постели, от ее тела пахло лавандой, мелиссой, тонкими сладкими ароматами арабских духов – он понял, она любила пряные запахи. Стареющая дама, еще красивая, немыслимо богатая, познавшая все, чего не знала раньше, за одну ночь. Какое счастье умереть во сне. Не узнав, не поняв ничего. Он оплатит тебе. Он подарит тебе это счастье.

Он огляделся. Вздрогнул. Кухня?! Нож-тесак?!.. Кровь. На постели будет ее кровь. Он не должен проливать кровь. Рукоятка. Отпечатки пальцев. Его найдут. Револьвер?! Такая дама наверняка хранит в укромном ящике стола маленький дамский револьвер. Времени нет искать. И потом, это шум. Он создаст шум, и она проснется. И бросится ему ша нею. И будет умолять. И потом он переспит с ней, и все рухнет. Все рухнет в тартарары. Нет! Не револьвер. Руки. Его руки. У него есть он сам. Больше ничего у него под рукой нет.

Он вытянул руки вперед. Они не дрожали. Он видел и слышал все ясно, прозрачно. Кровь не гудела у него в голове, не мешала ему. Он осторожно сел на кровать и протянул руки к ее лицу. Она закинула высоко в подушках подбородок, и от этого ее загорелое лицо стало чуть детским, наивным, как у девочки на пляже под солнышком. Он вспомнил, как вонзался в это податливое маленькое тело, как насаживал его на себя, как этот нежный маленький ротик целовал и лизал его торчащее жесткое естество. Она была такая бешеная, живая. А сейчас она будет неживая. Через каких-то пять, десять минут. Быстрее, что ты медлишь, разгильдяй. Она может проснуться. Она проснется, и тогда тебе каюк.

Наклонившись над ней еще ниже, он обхватил ладонями, пальцами ее шею. Сжал пальцы. Навалился на нее всем телом. Она дернулась, забилась под ним. Ее глаза раскрылись. Он уперся коленом в матрац, сжимал пальцы все крепче. Это было как любовь: тело на теле, лицо в лицо. Ее глаза выкатывались, вылезали из орбит, рот пытался открыться, хрип вместо крика клочкотал в груди. Он сжимал пальцы, сжимал. Увидел ее белки. Глаза закатились. Напружинившееся, отчаянно борющееся тело под ним обмякло. Он еще подержал руки на ее горле. Поглядел на ее посиневшее, слегка вздувшееся лицо. Все было кончено.

Он не помнил, сколько времени он еще сидел над ней, мертвой. Поднял голову. В спальне было темно. Он встал с кровати, вынул спички из кармана, зажег маленькую свечку внутри китайского фонарика. Красный ягодный свет выхватил из мрака ее искаженное мертвое лицо. Куклы глядели на него со стен: кто осуждающе, кто радостно, кто равнодушно. Их картонные ножки в гэта торчали в стороны, в высоких прическах черноволосых дам застыли длинные шпильки.

Митя оглянулся. На столе мерцал оранжево-стеклянный кувшин с апельсиновым соком. Это кстати. Он шагнул к столу, взял кувшин, жадно осушил его до дна, через край. Теперь можно брать назад картину. С багетом?!.. без?!.. о, хлопотня...

Он выдернул из-под мертвой Анны широкую цветастую простыню. Сдернул картину с гвоздя. Завернул в ткань. Багет отличный, итальянский, должно быть, баксов триста стоит. Что такое для тебя сейчас триста баксов, остолоп. Ты что, забыл, кто ты уже. И кем ты будешь скоро. Совсем скоро.

Выходя из квартиры, он взял свою рукавицу и тщательно протер все, к чему прикасались его руки: стеклянный кувшин, спинку кровати, где лежала мадам Канда, дверной замок. Потом подхватил картину под мышку. О, медная доска, какая же ты легкая была без одежды, и какая же ты тяжелая теперь, в царственном багете. Ах, наследная вещь! Семейная реликвия! Варезка, он пойдет в церковь и поставит свечку за помин твоей души. А как же икона святой Анны?! А святая Анна перебьется. Не все коту масленица. Любишь спать с молоденькими мальчиками, люби и расплачиваться не деньгами – жизнью.

Еще раз, последний раз, он поглядел на ее мертвое лицо в подушках. Да, прелестна. А никогда не знакомься, богатая баба, с бедняками на вечеринках. Пусть Игорь Снегур напишет твой посмертный портрет. Написал же Тинторетто умершую дочь, вот так же, в подушках, когда девчонка скончалась от чумы в Венеции.

Когда он тихо затворил за собой дверь, спустился, как кот, по лестнице и вышел на улицу, в звон мороза, он скумекал, что метро уже закрыто. Он шел на Столешников через всю Москву пешком. Лепнина багета больно врезалась ему в ребро.

КРУГ ВТОРОЙ. ИГРА

Митя без суеты и хлопот купил себе не особо роскошную, удобную и уютную квартиру из двух комнат в престижной высотке на площади Восстанья, рядом с Садовым кольцом, напротив Зоопарка. Встречаясь с маклерами, оформляя документы, улыбаясь беседуя с деловыми людьми, он удивлялся самому себе. Откуда у него такая хватка, такое умение вести деловой разговор, такое острое чутье на возможный обман, такая память на цифры, даты, факты?.. Он усмехался про себя. Значит, он талантлив, а он-то и не подозревал. Пока он жил в доме в Столешниковом, картину он не развязывал, не распаковывал. Он решил: повесит ее на стену уже в новой, в *своей* квартире. Парням-дворникам он не говорил ничего. Отшучивался: да так, ребята, устраиваюсь тут в одну клевую фирму, с дворницкой стезей покончено. «А прописка?.. – озабоченно спрашивали мужики. – Тебя же в шею погонит из Москвы любой дотошный мент!..» Он молчал. Улыбался. Он молчал о том, что московская прописка была уже им куплена – за хорошую кучку наличных долларов, что он снял, дивясь и радуясь, со своего собственного счета.

Он приобрел квартиру со всей обстановкой в ней – хозяева уезжали насовсем во Францию, и ему повезло, не надо было мотаться по мебельным салонам, заказывать диваны и шкафы: покидавшие жилье были люди богатые и со вкусом, и Мите по сердцу пришлось и мягкие широкие диваны, и модный, под старину, кухонный гарнитур, и широкая белая итальянская кровать в спальне. Это все было его, его собственное! Он просто готов был спятить от счастья. О мертвой мадам Канда он и не думал особо. Ну, явилась милиция; ну, завели дело; но если через три месяца его не нашли, значит, не найдут его и через три года. По Москве шумела дикая весна, солнце палило вовсю, снега оседали, бил ослепительным синим небом в лицо сумасшедший март. Он ничего не сказал дворникам, когда переезжал со Столешникова на Восстанья. Он просто исчез, и все. Исчез из их жизни. Исчез из своего прошлого.

Первые дни в своей квартире он не верил всему происшедшему. Так, значит, человеку для счастья надобно только свое пространство, и все! А вдруг ему для счастья еще что-то нужно?! Он узнает, что. Он будет счастливым на этой земле, пока живет, сполна. Он бросался на диван плашмя. Он хохотал в голос. Он накупил еды, вина, заставил весь бар бутылками, весь холодильник – изысканной жратвой. Он поминутно подходил к холодильнику, щелкал дверцей, вытаскивал то баночку с икрой, то тонко нарезанную семгу, наливал в рюмку арманьяк, причащался. Господи! Сделай так, чтоб вот так было всегда! А если не сделаешь, Господи?! Если не сделаешь – он сделает себе все сам.

Хозяева, продавшие ему квартиру, увезли в Париж единственное – библиотеку. Книжные шкафы были пусты. Он наставил в них винных, ликерных бутылок. Потом устыдился. Взял рюкзак, побрел на книжные развалы. Накупил то, на что упал его бестолковый взгляд – ужастики, зубастики, триллеры, глянцевые книжки из популярных серий: «Детектив глазами женщины», «Русские разборки», «Криминальный талант». Вот у него так воистину криминальный талант оказался. Не срезался он на бреющем полете. Набив рюкзак книжонками, похожими друг на друга, как яйца из инкубатора, он кинул взгляд вбок. Рядом с книжным развалом стояла на ярком тающем мартовском снегу маленькая девочка, лет восьми-девяти, без шапки, с белыми космами, неряшливо льющимися прямо на плечи в вытертой шубейке. В руках девочка держала старую книгу. Митя сразу понял, что книга древняя. Толстый кожаный, лоснящийся переплет, медные застежки, вытесненный, с позолотой, узор на обложке.

– И что это у тебя?.. – склонился он к девочке, любуясь тем, как солнечные лучи играли, путались в белых волосах.

– Библия, дяденька, купите Библию, – затараторила девчонка обрадованно, – всего пятьсот рублей прошу... она ведь старинная, за такие в магазине и тысячу дают...

Он вытащил из кармана стодолларовую бумажку, затолкал девчонке за шиворот, выдернул книгу из ее рук. Пошел прочь. Услышал, как сзади громко ахает и неверяще, истерически смеется девчонка, должно быть, укравшая книжку у бабки из-под подушки, хохочет маленький земной живой человечек, которого он на миг осчастливил деньгами, свалившимися с неба.

Книги были расставлены в шкафах, и все равно было скучно. Он не мог их читать. Они тут же стали ему противны. На лестничной клетке он однажды столкнулся со старухой – высокой, гордой, с лицом царственной мумии, с палкой в руке. Серебряный набалдашник в виде головы льва отсвечивал былым благородством в свете подъездной слепящей, как на допросе, лампы. Он раскланялся. Старуха поклонилась тоже. Она первая открыла рот, спросила его о том, о сем. Он ответил. Завязалась беседа. Она пригласила его: заходите. Он с удовольствием согласился. Делать ему все равно было нечего. Надо было убить вечер.

Оригинальная старая дылда оказалась княжной. Ее родня жила в Париже. В Париже живут все, кому не лень, подумал он с раздражением. Он тоже может поехать в Париж, хоть завтра. Но не надо торопиться. Всему свое время. Он слушал рассказы старухи о Царском времени, прихлебывал душистый, с бергамотом, чай, деликатно откусывал сладкий домашний рулет. «Я пеку сама, – горделиво поясняла старуха, – я вообще все делаю сама, хоть родня и наняла мне горничную и компаньонку. Горничную я выпроваживаю тут же. Компаньонку – принимаю иногда, когда на меня нападет стих – поболтать. Будьте моим компаньоном, Митенька!.. В вас есть что-то аристократическое... что-то такое наше, забытое... эти тонкие черты лица... только вот вам бороду, усы надо подстригать по-иному, я еще подумаю, как... А знаете, когда в Царском дворце меня назначали дежурной на обеде у Царя, какое значение мы придавали прическе?!.. то-то, не знаете... а Николай Александрович любил за обедом созерцать хорошеньких дам, это было очень целомудренно, знаете, Царица никогда не ревновала... однако Его Величество все-таки подарил мне кое-что, в знак благосклонности... и Ее Величество тоже... когда мы лучше подружимся, я вам все, все покажу...»

Он стал дружить со старухой. Она забавляла его. Он по уши наслушался рассказов про Царскую Семью, про балы и рауты, про ужасы революции, про бегство из России на подводах, пароходах, поездах, пешком, бегом через замерзшие балтийские заливы, с орущими отпрысками княжеских родов на красных от мороза руках. «Ирина Васильевна, вам еще чаю?..» – «Да, будьте любезны. Откуда, Митенька, у вас эти изящные манеры?.. да нет, вы точно аристократ, вы скрываете, доверьтесь мне... вы ведь из Сибири, как вы признались, так вы что, не знаете, сколько ссылали в Сибирь графов и князей?!.. за все хорошее, деточка... за все хорошее...» Прошло совсем немного времени – неделя?.. две?.. три?.. или, может, несколько дней?.. за вечерними чаями и разговорами они и не заметили этого... – как Царская фрейлина Ирина Васильевна Голицына показала растарашившему любопытные, жадные глаза Мите небольшой кованный сундучок, стоявший на столике в ее спальне, где повсюду – о, беспомощная старуха, зря она выгоняет нанятую домработницу, та хоть бы прибралась однажды хорошенько – валялись платья, халаты, шарфы, боа, пледы, одеяла, старинные кружева, новенькие дорожные сумки – должно быть, сумки парижской родни, приезжавшей-уезжавшей, когда заблагорассудится.

«Подите-ка, Митенька, сюда!..» Княжна Голицына распахнула сундучок. Митя увидел на дне сундучка кучку старинных, наверняка дорогих украшений, маленький образ в оправе из брильянтов, икону в золотом окладе, усаженном самоцветами. «Вот... вся моя жизнь!.. Вся память моя... Я завещала их моей милой Катичке, безобразнице парижской... да ведь она их растратит почему зря!.. А ведь за каждой драгоценностью, Митенька, – история... Целая история...»

Она поведала ему эти истории. Через день, два он уже знал, что перстень с изумрудом преподнес Ирине Васильевне на балу сам Царь, а Царица надела на нее жемчужное, в пять рядов, ожерелье, когда она поехала вместе с Семейей на торжества по случаю трехсотлетия дома

Романовых в Кострому. Образок святого Дмитрия Донского в алмазной оправе и крестик слоновой кости, внутри которого, если заглянуть в дырочку внутри, просматривался тончайший рисунок – Тайная Вечеря, Христос и апостолы за трапезным столом, – были привезены ею из Палестины, куда княжна ходила паломницей. Икону Божьей Матери Донской ей, уже затаившейся, скрывающейся от большевиков, передал патриарх Тихон из Донского монастыря. Одно время, в восемнадцатом ли году, позже ли, в двадцатые, она пряталась в монастыре. И там, в келье, содрогаясь от выстрелов и взрывов, доносящихся снаружи, она молилась, вспоминая, как надевала для тура вальса в Зимнем дворце хризолитовое кольцо, подаренное ей Великой Княжной Татьяной. «Она подарила мне его в Татьянин день, Митенька!.. в светлый, солнечный январский день... А эти алмазные серьги – глядите, сколько карат, это же уникально, *c'est superbe!*.. – на меня надела Императрица-мать, Марья Федоровна, мир ее праху... А вы, Митенька, Великого Князя Александра Михайловича знаете?.. по мемуарам, конечно... а я с ним в крокет играла... о, Сандро был изумительный человек, странный, веселый, превосходный, остроумный... совсем как вы... и на вас чем-то таким похож... он нацепил мне на палец этот аметист на одной пирушке, чтоб я никогда, никогда впредь не опьянела... ведь аметист, по поверью, от пьянства предохраняет... А когда я, после побега с каторги... милль пардон, из лагеря, из вашего, советского, из сталинского, с Колымы, бежала!.. очутилась в охотничьей сибирской избе, меня охотники спиртом отпаивали, спиртом растирали... я целый стакан разбавленного спирта выпила... и я была, та раголе, такая пьяная, такая пьяная, что ни в сказке сказать!..»

Митя кивал, слушал, запоминал. Его глаза разгорелись – он увидел в старинное старухино зеркало свое пылающее, покрытое красными пятнами лицо, свои угли-зрачки и напугался. Ему-то что?! Жизнь старухи – в ее камешках. Пусть тешится. Но мысль закралась, поселилась в нем, внутри, как в пещере. Не отпустила.

Однажды вечером он засиделся у нее за полночь. Недопитый чай остывал в чашках. Старуха задремала в кресле. Он стал судорожно соображать, называя вещи своими именами. Ему было нечего теперь терять перед самим собой. Нет, ты ее не убьешь, Митя. Ты будешь действовать нежно, мягко. Ты просто-напросто сейчас встанешь, подойдешь к двери спальни, приблизишься к сундучку. Ты запомнил – старуха оставляет ключ в замочке, не вынимает. Она тебе доверяет. Нет, дурень, она просто старая склеротичка. Ей до лампочки.

Он тихо встал из-за стола и по одной половице, чуть скрипнувшей, прошел в спальню. Чуть не упал через валявшийся на полу халат. Сундук даже не был закрыт. Крышка была откинута. Должно быть, старуха перебирала камешки, как Гобсек, любовалась ими, роняла слезу. Митя запустил руку внутрь. Его пальцы ощутили холод ограненных камней, цепкие крючки застежек, леденистую скань иконного оклада. Он расстегнул рубаху. Брал драгоценности горстями, как ягоды из туеса. Клал за пазуху. Камни, золото холодили живот. Он застегнул пуговицы. Закрыв крышку пустого сундука. Подошел к окну, распахнул форточку и бросил в нее ключ. Его руки, о чудо, опять не дрожали. Ба, Митька, да ты просто молоток, сказал он сам себе весело. Как все просто. Вот так все просто. Бабка дремлет. Сейчас я разбужу ее, поставлю на плиту чайник, мы еще поболтаем немного, мирно простимся, она сладко уснет. А завтра хватится ключа. А ключика-то нет, ищи-свищи. А потом, когда она вскрыет замок ножом, отчаявшись, и обнаружит, что внутри – пусто, она будет думать в ужасе, думать, думать и не придумает ничего, как то, что она перепрятала сама свои бирюльки. И будет шарить их по всему дому, искать. Все перевернет вверх дном. И меня звать на помощь. И я буду охать, ахать, помогать ей искать вчерашний день, лазать в ее пыльные шкафы и мышинные кладовки. Вот развлечение я ей устрою. Под занавес.

Он гнал от себя мысль об убийстве. Все, после мадам Канда больше никаких убийств. Все надо делать бескровно.

Он осторожно дунул старухе в лицо. Она тут же вскинулась в кресле, открыла круглые, чуть навывкате, в мешках морщин, пронизательные глаза. «Еще чаю?..» – вежливо спросил он, наклонившись над ней. «О нет, дорогой Митенька, я слишком устала. Если б вы были моей горничной, я бы попросила вас раздеть меня». – «Давайте я вас раздену, – просто сказал он. – Мне это ничего не будет стоить. Не стесняйтесь. Я поуважаю за вами». – «Нет, нет, – затрясла она серебряной, гладко причесанной головой. – Это нонсенс. Это уже лишнее. Что, я сама не справлюсь. Мне стыдно, я же... – она помедлила, вздохнула, – хоть и старая, а женщина. Простите, мон шер, что доставляю вам столько хлопот. Спокойной ночи».

Он пожелал ей тоже спокойной ночи. Вышел, стараясь не греметь под рубахой камнями и железяками. Войдя к себе, он высыпал все награбленное в наволочку. Крепко завязал. Сунул подальше в шкаф – под накупленные бестолковые детективы, под Библию, растопырившую масляный кожаный переплет.

На другой день, к вечеру, он захотел зайти к старухе. Его разбирало жгучее любопытство: обнаружила она пропажу?.. нет?.. Он долго звонил, налегал на кнопку. За дверью царило молчанье. Он случайно оперся локтем о дверь. Она подалась. Он толкнул дверь, вошел. Тишина обняла его.

В гостиной никого не было. В кухне – тоже. Чайные чашки, ложки, чайник, засохшие в блюде пирожки – все, как было накрыто вчера, так и стояло на столе. Он подобрался к спальне. Старуха сидела в кресле, затылком к нему. Он не видел ее лица. Сундук стоял перед ней на столе, открытый, рядом валялся нож – как он и предполагал, она не выдержала, сломала крышку. Он подошел ближе и вскинул глаза. Увидел лицо старухи в зеркале. Она сидела, выпрямившись, прямо перед трюмо. На него из зеркала смотрела застывшая ледяная маска.

– Ирина Васильевна, вам плохо?!.. – слабо, жалко вскрикнул он. Старуха молчала. Он подошел еще ближе. Взял ее за руку. Отдернул руку. Лед пальцев престарелой княжны прожег насквозь его потную ладонь. Ирина Голицына была мертва. Была абсолютно, бесповоротно мертва. Она умерла от горя. От созерцанья своей пустой, никчемной, никому не нужной жизни, из которой вынули самое больное и драгоценное – память.

Сутки после смерти старухи он валялся на своей роскошной итальянской кровати, вставая только влить в себя рюмку коньяка, мучительно раздумывая. Старуха мертва, он жив. Помимо картины, он – обладатель еще целой кучи драгоценностей Царской короны, каждая из которых стоит... Да к чертям то, сколько они стоят, эти безделки! Да, он спер их. Так было суждено. Вообще все, все человеку на земле суждено. И грязь, и чистота. Он чист. Он не убивал старую бабу. Она умерла сама. От разрыва сердца. У нее вместо сердца и был-то старенький дырявый мешочек. Шутка ли, пройти революции, войны, смерти, лагеря. И она выжила везде. А в собственной спальне умерла. Так захотел Бог.

Так захотел ты, Митя, не ври себе. Ты угробил ее.

Ну и что?! Его жизнь продолжается! Курица жрет червяка, кошка жрет курицу, собака жрет кошку, лев жрет собаку! А человек жрет всех. Человек всеяден. Он, новоявленный богач, русский нувориш, не должен скучать в великой столице мира, не должен лежать на кровати, задрав ноги, и плакаться в жилетку о всяких мертвых бабах, старых и молодых. Он должен развлекаться! И он будет развлекаться, черт побери!

... ..

«Я никогда не был в игорном доме. Я должен туда пойти. Это должно быть очень забавно. Туда приходят мужики с толстыми кошельками, господа с битком набитыми баксами карманами – и, чтобы не испытывать судьбу иначе, чтобы не убивать в подворотнях, чтобы не наси-

ловать баб – а разве богатый человек может позволить себе такое неприличье?!.. а жажда насылья все равно живет в каждом мужике, она только загнана в угол, в самую тьму души!.. – садятся за стол, встают вокруг стола, кидают карты, бросают на кон деньги, запускают волчок, играют в рулетку. Они играют. Что ж, поиграет и он. Я поиграю в игру, а не в жизнь. Если с жизнью играешь неосторожно, нагло, ва-банк, как поиграл недавно я, она подкидывает тебе карту смерти, и тебе просто нечем крыть».

Он прекрасно знал это казино на Тверской – когда он тысячу раз шатался по Тверской вечерами, сделав на Столешниковом и Петровке всю дворницкую нудную работу, он все время созерцал эту светящуюся, бешено мигающую, хлесткую рекламу: «Казино! Рулетка! Вы можете выиграть ваше счастье! Не бойтесь игры!» И ниже – пульсирующими буквами, золотыми цифрами: «Зеленая лампа» – и адрес. Вся наша жизнь – игра, подумал он напыщенно. У кого как выпадут кости. Кто как волчок крутанет.

Он приоделся. Вырвал из шкафа два, три костюма – после пребывания в дворницких трущобах он уже успел помотаться по магазинам, обзавестись приличным прикидом. Да, пожалуй, вот этот, светлый, кремовый, почти белый. Белый смокинг?! Ну ты, Митька, и даешь. Сейчас же зима! Белое хорошо только в жару, в солнечную погоду, на реке, на уик-энде!.. Чепуха. Он художник. Он одевается как хочет. Ренуар одевался в Париже как хотел. Клод Моне – как хотел. А он должен стесняться, мяться?!.. Это болезнь нищеты, Митя. Излечи ее. Становись смелым. Сбивай с ног, с рук кандалы.

Картины, холсты, подрамники, краски, что он перевез сюда, на Восстанья, со Столешникова, тоскливо сгрудились в углу. Он не прикасался к ним. Когда домработница, все же приходившая иногда к княжне, явилась и обнаружила тело, и парижской родне немедленно телеграфировали, и в квартире напротив поднялся мрачно-суетливый шум похорон – дверь была открыта настежь, и пол-Москвы шастало на поклон к старухе, дать последний поцелуй, – его пригласили, как соседа, почтить память. Он почтил. На поминках он даже разговорился со старухиным внуком, известным французским пианистом, Кириллом Голицыным, после третьей рюмки признался, что он художник, малюет понемногу. «О, художник?!.. – На лице русского француза, чубатого и красивого, как Ален Делон, мужика лет сорока, написался искренний восторг. – Так у меня к вам просьба!..» Митя подумал – сейчас попросит написать портрет жены, дочки. Сейчас предложит: приезжайте к нам в гости в Париж, я вам сделаю вызов. «Сделайте небольшой набросок с усопшей... пожалуйста!.. на память... Все же это княжна Голицына, и нас в мире осталось не так уж много...» И он, скрепя сердце, сидел у изголовья покойницы, вырисовывал карандашом и сангиной на ватмане сухощавые, лукавые, полные затаенной гордыни черты, сеть морщин, набрякшие временем веки.

Да, да, он художник, и белый костюм ему к лицу! У него же черные длинные волосы, высокая шея, космы спадают на плечи, небольшие усы и бородка придают ему совсем парижский видок. А может, гладко выбриться?!.. Нет, так отлично. Самый игорный вид. У него вид такой, будто он уже выиграл десять лимонов баксов. А что? Он и выигрывает. Игра только началась, господи.

Он накиннул черный длинный плащ. Сунул в карман деньги. Потом подумал и полез в шкаф, за книги, вынул туго увязанную наволочку. Запустив туда руку, наудачу – пусть сама судьба распорядится!.. – вытащил изумрудный Царский перстень. Это спасательный круг. Да нет, это талисман. Если вдруг он, неумеха, лох, все просадит, у него будет, что бросить, надменно глядя в глаза крупье, на черное, на красное поле.

Он весело глянул на себя в зеркало. Весело загрохотал замком. Весело скатился вниз по лестнице, плюнув на лифт. Его ждало сегодня веселье – то столичное веселье, о котором пишут в книгах, опасное, зловещее, поджигающее кровь, яркое, как веер из павлиньих перьев. У подъезда высотки, внизу, на стоянке, дремала машина. Его собственная машина. В память об Анне он купил в автосалоне на Красной Пресне маленькую «мазду». Права он купил, так

же, как и прописку, не встретив особого сопротивления у чиновников. Водить машину, плохо ли, хорошо ли, он умел. Научился еще в Сибири, там катался без прав – на ветхих тачках братьевников, собутыльников.

Он сел в «мазду», разогрел мотор, вытащил из кармана пачку «Мальборо», не торопясь закурил. Сидеть в собственной машине, курить «Мальборо», пьянеть от свободы, от предвкушения азарта и победы. В казино наверняка будут ошиваться красивые женщины. О, телки, о, козочки. Он попасет вас. Он выберет самую нужную ему из вас. А какая тебе нужна, Митенька?! О, он еще не знает. Все решается в последний момент. Лови момент, угрюмый дворник из Столешникова. Жизнь хороша тем, что состоит из моментов, как из цветных стеклышек. Бог повернет калейдоскоп, и завтра стекла сложатся по-другому, разрежут тебе горло, высыпятся тебе под ноги в грязь.

Когда он тронул руль и снялся с места, слушая шуршанье шин о заледенелый асфальт, ему показалось, что за стеклом «мазды» возник, будто из морозных узоров, лик умершей старухи Голицыной. Ее птичий глаз глядел на него через стекло, проникая, приговаривая. О, художник, тебе бы во всем, во всей природе видеть образы, картины, фигуры, лица. Ты без них не можешь. Ну-ну, ступай в казино. Ты увидишь там новые лица, типажи, характеры, узришь такие рожи, что тебе и не снились. Это будут твои впечатленья. И ты зарисуешь их. Кинешь на холст. Сначала надо жить. А потом уже – работать. А разве нельзя и то, и другое вместе?.. Может быть, и можно. Но он сначала рьяно, пьяно хочет жить. Ведь он не жил до сих пор. Он прозябал. Он скреб лопатой мостовую. У первой же красивой девушки, которая подойдет к нему в казино, он нагло отведет со лба прядь волос, дерзко поцелует ее в губы. Он неотразим. Он Адонис в этом белом костюме.

«Мазда» вырулила с Большой Никитской на Манежную, завернула на Тверскую. Слепящая, сыплющая холодными зернами бенгальского фейерверка реклама казино наплыла на Митино лицо. Он тормознул. Постучал себя по нагрудному карману, проверяя, есть ли в запасе сигареты.

Он фертом вошел, вступил, как некоронованный король, в зал, изукрашенный сплошняком зелеными тканями – стены были обиты золото-зеленой парчой, во весь пол размахнулся черно-зеленый персидский ковер, столы были, как водилось издавна в казино, устланы зеленым сукном. Вокруг столов спокойно, мертво стояли, оживленно шевелились, отчаянно метались, скептически застывали люди. Богатая публика Москвы играла, пробуя на вкус счастье. Никто не знал, какое оно. Митя сорвал с плеч плащ, кинул его на руки гардеробщику. Когда он шел к столу, где метался, как бешеный, шарик рулетки, на него, на его белый костюм оглядывались. Митя, не кажешься ли ты тут снеговиком на зеленой травке?.. Как они на тебя пялятся. И, гляди ты, почти нет баб. Скучновато. Может, он прикатил рано, и козочки прискачут попозже?..

Он подошел ближе к зеленому столу. От стола к нему обернулись лица. Ого, какие мордочки! Наглее не придумать. Трое, уставившиеся на него, видимо, были его ровесниками. Им не стукнуло еще и четвертака. Золотая молодежь, алмазные хлыщи. Проматывают папенькины, маменькины баксики. Митя изогнул губы в кривой усмешке. Видал я вас. А внутри все у него рухнуло в пропасть. Сейчас они поймут, что я новичок, и поднимут меня на смех. Он скосил глаза. Шарик метался по красным и черным полям рулетки. Молодые люди не глядели на рулетку. Они глядели на него. Он был свежей дичью, возможно, добычей.

– Привет, господа, – процедил Митя сквозь зубы, развязно, фривольно, подчеркивая, что он тут завсегдатай, что все тут ему смертельно надоело, да привычка, что поделаешь, гонит сюда, охота пуще неволи. – Делаем ставки?..

Крупье прокричал что-то невнятное. Куча людей за столом пришла в неистовое движение. Все жадно, с интересом, с завистью, с ненавистью, с искусственным подчеркнутым равнодушием смотрели на высокого обрюзгшего господина в черном, похожего на крупную собаку,

на дога; он сгребал в карман кучу потрепанных и новеньких, хрустящих, зеленых баксов, среди которых попадались разноцветные английские деньги – фунты стерлингов – и затесались несколько немецких купюр с сусальной рожницей красотки Клары Вик. Этот господин, похожий на собаку, выиграл. Он выиграл! Значит, выиграет и он, Митя, если постарается!

Как ты не поймешь, дурило, что от твоего дерьмового старанья ничего не зависит. Все решает Бог.

Бог – или...

Он не дал себе додумать. Гладкорожий молодой хлыщ с модной стрижкой «лесенкой» насмешливо измерил его взглядом.

– Привет, синьор, – засмеялся он, и белые зубы парня выблиснули ножево. – Пари держу, что ты тут впервые. Только не вздумай врать. Тех, кто брешет, мы мигом колем. А потом доверья ничем уже не заслужить.

– Отменный прикид, – проронил второй парень, нахально цепляя его пальцами за полу пиджака. – От Версаче?.. От Валентино?.. Скажешь, где брал, я там тоже че-нибудь возьму. Поиграть пришел?.. Давай, начинай. Хочешь стоя, хочешь сидя. Кто как любит.

Митя протиснулся к игорному столу. Он видел морщинистый лоб, мокрую от пота лысину крупье, импозантного старика в галстук-бабочке; крупье воздымал руки, будто молился кому-то, а по красным и черным полям рулетки носился, прыгал, летал шарик, и все напряженно ждали его остановки, и все гипнотизировали его, умоляли Бога о счастливом исходе пляски; Митя видел дрожащие руки игроков, сведенные судорогой ожидания бледные лица, высвеченные желто-лимонным сиянием люстры; видел пальму, раскинувшую длинные, веером, темные листья сзади стола, в кадке, украшенной елочным «дождем». «После Нового Года не сняли», – подумал он сердито.

– Да, я тут впервые, – сказал Митя. К чему была вся его спесь. Он здесь ученик, и ему надо учиться. Во всем нужна школа. У него совершенно нет школы *этой* жизни. – Сколько тут ставят?.. Какая ставка считается приличной?..

– Ха-ха, да он думает о приличиях! – расхохотался первый бонвиван, краем глаза продолжая следить за оголтелым бегом шарика по красно-черному магическому пространству. – Сколько не жалко, столько и ставь. Или ставь все, что у тебя есть. Если у тебя с собой много – прилично выиграешь. Или неприлично проиграешь. Га-га-га-а-а-а!..

Митя побледнел. Залез двумя пальцами в карман белого пиджака. Когда он вытащил и кинул на красное поле увесистую пачку баксов, три богатеньких паренька, прикалывавшихся к нему, чуть ли не потешавшихся над ним, внезапно онемели. Крупье завопил:

– Две тысячи долларов на красное!.. Две тысячи долларов на красное!..

– Ого-го, да ты не скупердяй, мальчонка, как я погляжу. – Стриженный «лесенкой», белокурый юноша оценивающе глянул на Митю, уважительно цокнул языком. – Да ты наш человек. Ну, давай, расшивайся, ты наш или не наш?.. Занимаешься всячиной?.. Мы – занимаемся.

Митя судорожно озирался. Расправлял плечи под лебяжьим пиджаком, тер щетинистую пятидневную бородку, щипал усы. Надо бы еще каждое словцо мотать на ус, выучивать *их* язык. Всячина!.. Словно бы – ветчина... Торгуют ветчиной... Торгуют – краденым сибирским золотом... Тогруют – женским телом?.. нефтью?.. взрывчаткой?.. оружием?.. почками и селезенками малых детей?.. да чем угодно, лишь бы – торговать... Всячина... У него закружилась голова, как от выпивки. Он опять криво улыбнулся. Не подавай виду, Митя. Не подавай виду.

Шарик запрыгал по столу. Все затаили дыханье. Третий из троицы согнулся над столом. Двое – этот, золотоволосый, стриженный, и тот, с волосами погуще и подиче, что шупал его за пиджак, проверяя прочность, качество и дороговизну ткани, глаз не сводили с Мити.

– А если ты выиграешь, принц Уэльский?.. – без обиняков спросил его белокурый, с сытой мордахой. – Опять поставишь?.. Или по девочкам побежишь?.. с корзиной шампанского?!..

– Опять поставлю, – мрачно сказал Митя. Белокурый уважительно поглядел на него. И снова его глаза брызнули наглой насмешкой, иглами презренья.

– Ну точно наш человек!.. – Он ткнул локтем в бок лохматого. – Ты, Бобка, лови кайф, следи за рулеткой!.. Голову на отсечение, этот волосатик выиграет!.. Получит куш!.. Смотри, смотри!.. Ну так и есть!.. Фарт!..

Митя не слышал, что кричал крупье, жертвенно воздымая толстенные ручки, смешно высывающиеся из-под обшлаг, над зеленым сукном стола. Он видел – все оборачивались на него. Протыкали его взглядами. Смущенно улыбались ему. Обреченные на смерть приветствуют тебя, Цезарь, – вспомнилась ему ни с того ни с сего выпренинная фраза из какой-то ветхой книжки, что он мусолил в Сибири, на чердаке у бабки.

– Ты выиграл двадцать штук, чувак, – холодно и восхищенно вычеканил стриженный «лесенкой». – Не слабо. Гуляем?.. Ну уж штуку-то из твоего выигрыша, лох ты наш дорогой, на стильных девочек потратим?.. Водка «Абсолют», сауна – как в Лапландии, телочки – по высшему разряду. Ты же ни черта играть не умеешь, и ты выиграл. Ну, мы тебя научим. Все, сегодня больше не играем. Едем! Едем отсюда! Ты на тачке?.. Мы тоже. Я Лангуста. Это Боб, – кивнул он на кудлатого. – А это Павел. Паша, – он хохотнул, – Эмильевич. Естественно. Его отец...

– Заткнись ты о моем отце, – с внезапной ненавистью подал голос третий парень. – Не тебе ему кости перемывать. Забирай выигрыш, вон, видишь, крупье удивляется, почему ты так долго копаешься. Вон, вон они, твои баксы!

Когда Митя сгребал себе купюры в угодливо подставленную для этой цели находчивым крупье смешную старую шляпу – и откуда только она тут взялась, черная, ветхая, чуть ли не изъеденная молью, в богатом, блестящим зеркалами казино?! – он удивился сам себе. Вот он с первого захода выиграл двадцать тысяч долларов, а не радуется. Ведь у него на счету... О, несчетно у него на счету. А для юных мафиози и штука – пожива. Вон как они глядят на тебя. Их глаза горят, как у волков. Они знать не знают – или знать не хотят, – что кто-нибудь в свой черед освежает их, снимет с них волчьи шкуры, разошьет их жемчугом, вставит рубины вместо глаз. Ах вы, мафики, мафики! Как же вы возгордились, как же вас съедает звериная гордость: мы – первые! А ты, Митя, разве не хочешь быть – первым?! Разве не хочешь ты взойти на трон жизни, и чтобы голенькие девочки сновали у твоих ног, неся то корзину с фруктами на голове, как Лавиния у Тициана, то мочалку, чтоб потереть тебе спинку, то лавандовое масло, чтоб вылить тебе на живот и зад, прежде чем заняться с тобой любовью?!.. Лаванда. Он вспомнил запах от белья мадам Канда. Зажмурился.

– Что жмуришься, как кот?! – проорал ему в ухо Лангуста. – Повеселимся с девочками, а вечером – опять сюда! Клево здесь, а?! Скажи!..

Они уже шли к выходу по залу казино. Он выиграл стремительно, и стремительно же удалился, в лучших традициях таинственных незнакомцев. Все оглядывались на белый смокинг. Черные длинные Митины волосы развевались над плечами, когда он спускался по лестнице. Боб восторженно глянул на него. Взлохматил свою шевелюру.

– Ну ты, в натуре, даешь, отпад!.. а так и не сказал, хитрый, как тебя зовут!.. может, ты вообще Березовский!..

– Дмитрий, – сказал Митя остановившись у двери. – Дмитрий Морозов.

– О, Морозов!.. – воскликнул белокурый Лангуста, прищурясь, рассматривая его, будто в лупу, – Морозов, это же какая-то знаменитая фамилия?.. в Москве были такие купцы?.. ну да, верно, один из них был клевый магнат, даже какой-то театрик открыл однажды, и, по слухам, там Шаляпин пел... а теперь один мафик есть крутой, Морозов тоже, он нефтью занимается, с Ближним Востоком шашни вертит... ты случайно не его братан?..

– Может быть, – пожал Митя плечами. Гардеробщик накинул на него черный плащ, метущий полами мрамор. – Я тоже мафиозо. Двадцать штук баков для меня – копейки поганые.

Поехали к девочкам. И в баньке я не прочь попариться. Тут у меня деньки жаркие выдались. Требуется отдохнуть... – он внимательно поглядел на Лангуста, – по первому... разряду.

Лангуста вернул ему пристальный взгляд. Митя разлепил губы.

– А тебя-то как зовут, парень... ну, по-правдашнему?..

– Зяма, – выдавил Лангуста, его скулы вспыхнули. – Зиновий полное.

Сауна дышала неистовым жаром. В парильне было так невыносимо, что Митя, войдя туда, испугался. Он думал, что воспламенится. Когда он сел на прогретый до жаровенного каленья деревянный полоч, он подскочил с криком: обжег себе тощий мускулистый зад.

Парни расстелили на досках полотенца, простыни. Голый Лангуста оказался субтильней, хилее, чем выглядел, под важным цивильным пиджаком. У него торчали ребра, будто бы он был нищим, побирушкой, дворником, будто бы ничего не ел по утрам и вечерам. Форму держит?.. Ну да, бег, гимнастика, диета, баня!.. Толстым быть немодно... Боб и Паша выглядели чуть потолще, повыше и покрасивее. У них ноги были постройнее, не такие кривые, как у Зямы; выпуклей выросли плиты мышц на груди. Боб поглаживал себя по бокам, по чреслам. Закрывал глаза: ребята, до чего хорошо!.. давайте жить в сауне!.. давайте никуда больше отсюда не уйдем!.. А где же девочки?.. А вот они и девочки. Эй, девочки!.. Ну вы и опаздываете!.. У нас же за все заплачено!..

Митя, распластанный на обжигающих досках, поднялся на локте. У него потемнело в глазах. На него надвигались такие три грации, что покойная мадам Канда и все его труппные кралечки-дворничихи померкли, скукожились, помстились ему уродками, обаяниями. Словно отлитые из бронзы, точеные голые тела. Девушки были одного роста, как на подбор; ступившая в сауну первой была черненькая, две остальные – беленькие. Кармен и две Маргариты, подумал он озорно. Они с парнями уже успели выпить изумительной водки и закусить ветчиной и лимоном в прекрасном, как для приемов, отделанном мрамором и цветными изразцами зале, называемом Лангустой презрительно предбанником; кровь бросилась ему в голову. Он вонзил глаза в черненькую, как крючья. Но перед ним, нагим, на корточки опустилась беленькая. Ее щеки тут же запунцовели в немилосердном жару, между торчащих врозь, как у козы, грудей потек мелкий пот.

– О-о, какой хорошенький молодой петушок!.. – замурлыкала беленькая, поглаживая Митин горячий живот. – Какой хоро-ошенький, какой сла-авненький!.. Ну покурайкай, сделай милость!..

Митя почувствовал, как вся кровь из всего его тела прилила у него к низу живота. Ну да, прямо здесь, при плюс ста тридцати по Цельсию. При чужих людях. На чужих глазах. Это же не представленье, Митька!.. Это представленье. Все в жизни – спектакль, игра. Ты ведь уже это, кажется, понял, петушок?!

Беленькая взяла в руки его естество осторожно, тихо, будто боясь причинить ему боль. Он изогнулся. Внезапная сладкая мука пронизала его. Лангуста рядом, невидимый, захохотал. Черненькая девушка принесла с собой еловый веник; она легонько похлестывала Боба по спине, другой рукой залезая ему между ягодиц. Митя скосил глаза. Ах ты, стеснительный Митя! Паша рядом с ним, у него в ногах, чуть повыше него, лежа на пахнущем смолой полке, уже усадил верхом на себя вторую белобрысую барышню, и она весело, будто скакала на добром коне по полям и лугам, подскакивала на нем, гортанно, дико вскрикивая. «Ты же убил человека, – повторял он себе, – ты же уже убил человека. Женщину. Ты задушил ее. Так что странного в том, что люди совокупаются. Ведь белокурая бестия уже пускает слюни. Ей очень хочется тебя. И тебе – ее. Слышишь, она шепчет: ого, какой дрын. Она одобряет тебя. Она уже влезает на тебя. Так что блуд не страшнее смерти, Митя. Ты слышишь, не страшнее!» И все-таки он боялся. Когда она, оторвав свои мокрые вывернутые после долгой ласки губы от его восставшей торчком плоти, подняла лицо и, повернувшись к нему задом, вонзив его,

лежащего, в себя, задвигалась сразу быстро, резко, жестоко, будто танцевала ритмичную жесткую ламбаду, он возненавидел ее. Он захотел ее сбросить с себя, как кусачую муху. Как рака, впившегося клешней в нежную кожу.

А Лангуста сзади все смеялся. Бедный Лангуста. Ему не досталось девушки.

– Эй, вы! – повелительно крикнул он. – Кабаны! Давайте скорей! А то мне уже неможется! Вы думаете, я железный, что ли?! Ты, Лизка, слишком долго ты... отцепишься от него, двигай в бассейн, там порезвимся!..

У Мити занималось дыханье. Это тебе не Иезавель. Это покруче. Хотя и с Иезавелью тоже все было не так уж плохо. Иезавель просто ненавидела его. Хм, и он тоже не особо ее жаловал. Просто надо было с кем-то распинаться на полу, на старых клопидных диванишках. А теперь он валяется на досках шикарной блатной сауны, и за каждую шлюху они с молодыми господами отвалили по пятьсот баксов. Угощал он. Он был сегодня в выигрыше. Дружки маслено, хищно блестели глазами. «У нас так принято!» А если они просто... выманивают из него деньги?.. Что ж, обман едет на обмане, обманом погоняет. Сегодня они использовали его, завтра он использует их. Как долго прыгает на нем эта проститутка. Какой у нее упругий, гладкий зад. Будто выточенный из мрамора. Краем гаснущего от взрыва наслажденья сознания он уцепил мысль: как здорово бы ее подержать в качестве натурщицы на каком-нибудь возвышеньи, на подиуме. Такие точеные формы – редкость. Гель, что ли, они все впрыскивают?! Ну же! Ну!..

Он погонял ее, как лошадь, втыкался в нее, подбрасывая на себе. Он и вправду чувствовал себя конем. Черненькая еще облизывала разомлевшего Боба. Вторая белобрыска убежала с Лангустой в бассейн. Когда взлетающая на нем, закинувшая голову к потолку златокудрая девица заорала благим матом, изображая пик счастья, он непритворно закричал, содрогаясь, вместе с ней, удивляясь ее жестокому и искусному мастерству любви.

Изумрудная ледяная вода бассейна обняла его, когда он вывалился, отдуваясь, весь ярко-розовый, в красных пятнах, из парилки. Сердце захолонуло. Он вспомнил, что у него в кармане лежит перстень такого же густого зеленого цвета, как эта ледяная вода. Как бы не стащили. Да им сейчас не до воровства. Девушки и парни плескались в бассейне, визжали, опять наскакивали друг на друга во вспененной воде, уносились в мраморный предбанник – вливать в себя водку и коньяк, чистить апельсины, наливать из самовара горячего чаю. Сауна только начиналась. Начинался *оттяг по высшему разряду*.

Они проторчали в снятой за восемьсот долларов сауне до утра.

Они погружались в машины с опухшими, полупьяными, довольно расплывшимися от непрерывного наслажденья лицами. Митя украдкой трогал пальцами щетину. Растет, растет борода. Она делает его старше, опытнее... важнее. В этом важность ИХ мира, Митька?!.. в расставленных, раскиданных широко женских ногах, в зияющем красном прогале хотящего, зовущего тела... Их и подбирают таких – чтоб хотели. А если они все это искусно подделывают?! Если они просто классно обучены... ведь обучают же актрис...

Он еле довел «мазду» до дому. Лифт взбирался на его этаж, как старик в гору. Хорошо еще, не застрял между этажами. Впав в квартиру, он свалился как сноп на кровать.

Он без просыпу спал до вечера. Вечером, продрвав глаза, умывшись и одевшись – на сей раз он нацепил не крылья белого лебедя, а крылья черного ворона – он снова поехал в казино.

Он окунулся в варево казино с головой. Через неделю он уже знал многих, если не всех, завсегдатаев-игроков по именам. Он, прищурясь, дерзко глядел на крупье, подмечая все его ошибки, вполголоса, так, чтобы тот слышал, просмеивая их, бросая на кон баснословные для других суммы! Миллион долларов! Ему казалось, он никогда не сможет потратить его. Ему была дана незримая индульгенция. Неразмennyй рубль. Разрешенье: трать, транжирь, все равно не убудет. Богачи пилились на него. Кто-то шептал: господа, взгляните внимательней,

ведь это же сын олигарха, ну да, поглядите-ка на ямочку на подбородке... а этот изгиб носа... а эта родинка здесь, над верхней губой... Он вздергивал голову. Он знал, зачем он здесь. Он здесь для того, чтобы познать все прелести опасности, все таинства игры. Весь ужас того, когда на кон бросаются не деньги, а, может быть, жизнь. Потому что деньги сейчас для многих, для этих людей, для НИХ – жизнь. А для него?

Он бы с радостью бросил бы на черное поле свою жизнь. И посмотрел, как будет разворачиваться дикая игра.

Те девочки в сауне исчезли поутру, унося заработанные баксы в чулках, в сумочках, под пятками в туфельках, утаивая хоть несколько жалких баксишек от хозяина. Рабыни исполнили танец живота изумительно. После плесканья в бассейне, после стократного восседания в парильне, когда они, пьяные, уже осмелились и плескали воду на раскаленную каменку, расцветая ожогами и оглушительно визжа, они стали соединяться в гроздь – по трое, по четверо, сходя с ума от разожженного и все никак не удовлетворяемого желанья. Шлюхи знали свое дело туго. Любовное ремесло горело у них в руках. Баксы были швырнуты не задаром. Лангуста утром, позевывая, опрокидывая на себя, голого, шайку ледяной воды, мечтательно сказал: а вот на беленькой, той, что сначала с Митей была, я бы даже женился. Чтобы такая услада у меня в койке – под боком, и каждый день. «Каждый день соскучишься!.. – хихикнул Боб. – Будешь заводить ее, как часы!..» – «На полшестого, что ли?.. – огрызнулся Лангуста. – Ну, понравилась мне эта халда, что ж я теперь, преступник, что ли!..» – «Это только русские классики в былые времена, Зяма, женились на шлюхах... нынче время другое... поел, выпил, порыгал, поспал – и прощай...» Прощай. Рано еще прощаться. Митя с тоской, с умалишенным блеском в глазах ждал вечера. И, когда вечер наступал, он складывал себя, как циркуль, впадая внутрь «мазды», сцепляя зубы – ехать. Ехать. Ехать снова туда.

Он играл и играл, и завзятые игроки уже внимательно присматривались к его рукам, жестам, повадкам – кто такой, как себя держит, как ходит по залу, с кем заговаривает. Митя был для всех странной тайной. Он сжимался в железный комок внутри от стыда – сейчас его поймут, разоблачат, крикнут: убирайся вон, самозванец, ты, из грязи в князи!.. – а на самом деле тут, в казино, все были такой же грязью, все вышли откуда угодно – из люмпенов, из мещан, из неучей, из ленивых хлыщей, потомственных аристократов здесь было раз, два и обчелся, но все-таки они тут тоже были, Митя видел мелькавшие в толпе игроков два, три лица – утонченных, надменно-породистых, изысканно-ироничных. И эти бывшие люмпены, выбившиеся в люди невероятьем накоплений, хитрыми ходами узаконенного воровства, наглым обманом государства – государства, которого уже, наверно и не было вовсе, Митя все гадал, есть великая Россия или уж нету ее, так разительно смахивало это, становящееся ему родным, зеленое казино на красивую американскую ли, французскую ли, английскую ли житуху, что крутили и крутили по ящику сутки подряд – любуйтесь, наши тупые, забитые нищей работенкой народы, ставки на черное поле!.. на красное поле!.. И Митя не хотел быть тупым и забитым. Он обошел всех на полкруга. А надо обойти на круг. И поэтому он будет играть. Он станет отличным игроком. Он не даст себя в обиду. Он изучит приемы и ставки. Он будет подмигивать крупье, когда будет проигрывать. Он бросит вызов судьбе.

– Э, да ты сегодня проигрываешь, браток!.. может, хватит?.. а то мошну всю растрясешь... побледнел, вон как испугался... это не твои последние тугрики, суслик?!..

Митя, наблюдая, как с игорного стола исчезают, сметаемые лопаточкой крупье, его последние деньги, что он захватил с собой в казино, видя себя, смертельно побледневшего, в длинном венецианском зеркале напротив, пожал плечами, усмехнулся. Не дать себя никому избить. Всегда быть выше всех. Ты взял планку короля – так королем и будь, а не шутом.

– Ошибаешься, Зяма, – медленно сказал он. – Я ничего не боюсь. Идем-ка с тобой выйдем. Одни. Вон туда. За тот курительный столик.

– Бить, что ли, будешь?.. – Лангуста прищурился. – Или покурить захотелось, горе дымком забить?..

– Для меня деньги – ничто, Зяма, – так же медленно произнес Митя. – Идем, расслабимся. Водки у меня с собой нет, а вот есть что бросить на кон. Сыграем с тобой в картишки. Стрельни у кого-нибудь. Но только не у крупье. Руку на отсечение, здесь у половины скелетов заткнуты в кармане карты. И я поиграю с тобой. И я тебя обыграю.

Лангуста стоял совсем рядом с ним. Склонился и близко, испытующе посмотрел Мите в глаза.

– В карты?.. У меня с собой карты. – Он постучал себя по груди. – И искать не надо. Думаешь, я в казино без меченых карт хожу. Я ж известный по Москве шулер. – Он смеялся над Митей. Его острые, как у рыси, клычки жадно поблескивали. Игра ему была – медом не корми. Игра была его жизнью, его едой и питьем, его шлюхой на одну ночь, его любовницей и женой. – Идем. Сразимся. Только ты врешь. Что ты можешь поставить?.. У тебя ж денежек сегодня нет, баксы на поле не выросли?.. плохо поливал... Расческу?.. Зажигалку?.. Пошел ты знаешь куда...

Они подошли к курительному столику. Митя отодвинул скользнувшую по зеленому сукну пепельницу, вытащил из кармана кольцо с изумрудом старухи Голицыной. Кинул его на сукно. Яркая зелень бешено, всеми гранями просверкнула, заиграла на тусклой матерчатой зелени. Митя только теперь рассмотрел, что камень, огромный, квадратно ограненный изумруд, спокойно лежит в обрамление из мелких речных жемчужин. Перлы, перлы. Как вы нежно светитесь. Митька, а если бы у тебя была невеста... любимая девушка, и ты бы лучше ей, девушке, Царский перстень подарил?..

– Нехилая фенька, – грубо сказал Лангуста, и глаза его вспыхнули. Он все больше напоминал Мите дикую рысь, затаившуюся на толстой ветке дерева, напрягшую широкие лапы, готовящуюся к точному прыжку. – Настоящая?..

Он взял перстень в руки. Повертел небрежно. А острые рысьи зрачки хватили отделку, количество граней, чистоту камня, вес, величину.

– Нет, Зяма, елочная игрушка. Это Царский перстень. Его Николай Второй одной знатной старухе подарил. Во время оно. Когда она была отнюдь не старуха, и Царь наш, любитель хорошеньких девочек, видимо, ее удачно отгаскал где-нибудь в тайных покоях Зимнего, а за радость одарил безделкой. Для него это была безделка, конечно. Египетский изумруд, из нильских копей под Каиром. Гляди, какой крокодилий цвет. – Он улыбнулся. Лангуста поднял от перстня глаза. – На Кристи он потянет... как *ты сам* думаешь, сколько он потянет?..

Он нарочно спросил о цене перстня Лангусту, зная, что тот, хоть и стреляный молодецкий воробышек, все же ничего путного про истинную цену не скажет. Вещь поистине была бесценна. Лангуста в восхищении поднес изумруд к кончику носа. Понюхал его, как понюхал бы цветок. Хрипло выдохнул:

– Черт меня возьми совсем, Митька... ты укокошил старушку, что ли?!.. Такой погремушке место... знаешь где?.. в Алмазном фонде, в Грановитой палате, вот где!.. Да ты ее оттуда и спер, жук!.. признайся...

– Ни черта, – твердо сказал Митя. – Твое личное дело не верить мне. Вещь реальна, как твой тупой затылок, Зяма, и играю на нее. И я знаю, что она стоит по меньшей мере лимон.

– Лимон чего?.. – глупо спросил Лангуста. Из-под его русой стрижки тек по лбу пот. Табачный дым – игроки курили не близ курительного столика, а прямо у игорного стола, презирая этикет, стряхивая пепел в пепельницы, что нахально ставили у своих ног на ковре, в бумажные кулечки, на лацканы пиджаков, за обшлага, – обволакивал их бредовым сизым покрывалом.

– Лимон баксов, доцент. По меньшей мере. По детсадовским расценкам. А по-настоящему – и двадцатник, и тридцатник, а то и полтинник. Ты это лучше меня знаешь.

Лангуста сглотнул слюну.

– Бреешь!.. Но я же не пьяный!

– Хочешь позвать сюда эксперта?.. – Митя нагло усмехнулся. – Давай, зови. Я скажу, что это мой перстенец, а ты украл его у меня. Вытащил из кармана. Так, сдуру, по пьяни. Играем?..

– Ты, чувак!.. Но у меня нет при себе лимона!..

У Мити захватило дух. ПРИ СЕБЕ.

– А... не при себе?..

– А не при себе – есть.

Лангуста покраснел как рак. Так, все понятно, это денежки материны либо отцовы. Ну, о'кей. Пусть изворачивается как уж. Это его проблемы, как сказали бы, хохоча во все горло, в милой Америке, которую он не видел никогда, которую увидит еще. И Париж. И Дакар. И Калькутту. И...

– Ты трус.

Митя вытащил из кармана «Мальборо». Они все трусы. Дым пополз вверх, серебристой короной увенчивая лоб. Он видел в зеркале напротив, как его глаза сузились. О, это он сейчас похож на японца. На мужа бедной мадам Канда. Интересно, как и где ее похоронили. Если в Москве – он сходит к ней на могилку. Он торопливо, нервно затыкался, отвернув лицо от Лангусты. Он делал вид, что презирал его. Пацан! «Лесенкой» стрижется, как рокеры! А еще высший свет, московская знать! Щенок! Он сделал движение – схватить перстень со стола. Лангуста остановил его руку.

– Играем!

Они перетасовали карты. Лангуста раздал колоду. Карты ложились неведомыми чернорубашечными узорами, выпадали, летели, бились в руках, как подстреленные птицы. Они оба нервничали. Изумруд ярко, победно сверкал в свете окутанной табачным густым дымом люстры. Люстра в казино «Зеленая лампа» была не хуже, чем в Большом театре. Карты летали и шелестели, молчали и кричали, вспыхивая слащавыми личиками сусальных дам и валетов, разя копиями черных тузов, расплываясь кровавыми пятнами смертной червовой масти. Картежный узор выкладывался на зеленом сукне такой, как надо. Узор судьбы.

– Король, Лангуста!..

– Пошел ты. Ваша дама бита. Просто Пушкин вы, дорогой Дмитрий Морозов. Гляди, червовая дама упала!.. А ты думал – не брать королей!.. Не брать кинга, ах, кинга не брать!.. Ах, какая дамочка, какая женщина... просто слюнки текут, как та, Галька, черненькая, в бане...

Он глядел остановившимися глазами. Взял карту в руки. Червовая дама была невероятно похожа на убитую Анну. Черная короткая стрижка, беглая белозубая улыбка на смуглом лице, чуть раскосые, густо подведенные сурьмой яркие веселые глаза. Он вздрогнул и смял карту в руке. Лангуста, смеясь и блестя глазами, дрожа ямочками на сытых щеках, вызывающе протянул руку и зажал в кулак изумруд старухи Голицыной.

На кон ставить было больше нечего. Стояла глубокая ночь. Вся деловая Москва спала, и его банк с его початым, растрясенным миллионом тоже спал. Занять денег у игроков?.. Он тут знает в лицо многих, а накоротке – никого; он якшается лишь с этой троицей, то нагло смеющейся над ним, то подобострастно заглядывающей ему в рот. Чуют, кошки, чье мясо съели. А это ведь реванш, Митька. Лангуста взял реванш. Он тебя не разгадал – он чувствует твою тайну, власть твоих темных денег, на которых ты сидишь тихо, как курица на яйцах, и это его раздражает, бесит его; и он хочет хоть немного поиздеваться над тобой, хоть чуть-чуть покочевряться. Вот он выиграл у тебя бесценный перстень и счастлив. Он счастлив как ребенок. Ха-ха! Недолго музыка играла, недолго мучился народ. Митя сцепил зубы. Утер ладонью пот над губой. Тряхнул волосами. Он отыграется. Он отыграется, даже если...

Даже если это будет стоить ему жизни.

На миг он увидел перед собой лицо бегущей женщины со старой картины. Она бежала, в ужасе оглядываясь, разевая рот в истошном крике, и ее рыже-золотые, кудрявые волосы развевались по ветру, и с черного, набухшего тучами рваного неба в нее, несчастную, летели молнии. Это жизнь бежала от смерти. Это сама жизнь кричала: жить хочу!.. Оставь меня!.. Не бери!.. Его глаза на мгновение застлала пелена. Он рванул пальцами воротник сорочки. Алмазная булавка отлетела в сторону, на ковер. Лангуста услужливо поднял булавку, всадившую иглу резкого света в зрачок, и протянул на ладони Мите.

– Возьми свой алмазик, – повел он носом. – А изумрудик остался у меня, хрю-хрю. Изумрудик-то классный какой. Пожалуй, ты прав, и я его действительно повезу на Кристи. Маханука я в Нью-Йорк. Там у меня дядюшка сейчас. Там у меня кое-какие делишки намечаются, так я заодно и камешек сплавлю. Жениться я не собираюсь, ни на шлюхе, ни на принцессе, так что дарить его мне все равно некому.

Митя повел глазами вбок. Он лихорадочно думал, думал, думал. Какого дьявола он кинул на кон этот бесценный перстень! Какого... Дьявола?.. У Нее, у Той, тоже были изумрудные, искристые глаза... Он обрубил эти мысли. Он представил себе свой проигранный камень, покоящийся в кармане у пацана Лангусты, хорошо бы еще тот был у оболтуса не дырявым. Ведь изумруду место поистине в мировой сокровищнице или на худой конец в коллекции крупного магната, приколотого на таких вот камешках, а уж никак не в вонючем табачном карманишке дерущего курносый нос румяного хлыща, – до сих пор не узнал Митя, чей он сынок, чьими долларами ворочает, кого надувает и охмуряет, кому дает подножки, кого выгораживает! За спиной Лангусты прятались люди, которым место было за решеткой. Эти люди давно поделили между собой пространство, котрое другие, непосвященные, наивно считали своим. Они поделили землю, власть, деньги, оглядывались – что бы еще поделить, о нет, не поделить, а присвоить, прихапать одному, двоим, троим от силы, но уж никак не толпе, не стаду, давно переставшему быть народом. Мальчик Лангуста прикрывал своим хилым тельцем чудовищ. И чудовища благодарно стерегли его. Чудовища лизали ему пятки. Чудовища, в доказательство своей признательности, отстегивали ему кусок, отгрызая от себя то коготь, то лапу, то хвост – ведь взамен отгрызенного у них вырастал новый, еще толще! Митя страдальчески наморщил лоб. Лангуста понял. Он понял все сразу и теперь наслаждался, видя метанья Мити. Ах, как сладко, как приятно унижать другого человека!

– Ты хочешь еще игру?..

Митя втянул табачный воздух казино пересохшими губами. Положил растопыренную пятерню себе на лицо. На пальце блеснул алмазик в золотом перстеньке с печаткой.

– Вот у тебя еще колечко есть, как у голубя на лапке, – томно завздыхал Лангуста, – так отчего же ты менжуешься?.. Кинь мне и его, я и его выиграю!.. И оно мне приглянулось!.. Вот его я подарю той шлюшке, черной Галочке... там, в сауне... воровское какое колечко, тюремное, такие – урки носят на зоне... ты сам не с зоны случайно, Митя, такой знатный?..

– С зоны, – не разжимая зубов, кинул Митя, выхватывая у Лангусты из ленивых холеных рук колоду и бешено тасуя ее. – С сибирской проклятой зоны, что сожгла мне все почки. Я ставлю на кон это дерьмо. Если я его отыграю, я кину его в Серебряном бору в озеро, рыбам. Чтобы рыбы сожрали его, мать их.

Он отыграл колечко с печаткой.

Он отыграл изумруд.

И, когда он выиграл у Лангусты, покрывавшегося все более сильной, призрачной, меловой бледностью, еще и девять тысяч баксов, которых, разумеется, ПРИ СЕБЕ у него не было, но ЗАВТРА... – Лангуста лишь тысячу, лишь жалкую тысьонку кинул ему, сжав зубы, выматерившись, – он понял, что судьба – индейка, что не надо насаживать ее на себя, как мясо

на шампур, и подкалывать на медленном огне; ее надо свободно любить, ей надо давать полную волю, ее надо ласкать и гладить, а насиловать ее – нет, ни за что. И, встав из-за курительного стола гордо и вольно, распрямив грудь, как разбойник, зарезавший богача и выбравшийся из лесной чащобы на простор дикого, гудящего выюжным ветром, заснеженного поля, раздув ноздри, торжествуя, не затолкав на сей раз отыгранный перстень в карман, а надев его, нацепив на палец – он пришелся ему впору лишь на худой мизинец, до того изящны были пальчики у Ириши Голицыной, ведь Царь дарил ей изумруд, а не ему, не тому, кто пришел сюда через сто лет!.. – он пошел вон из зала, вон не навек, конечно, а так, на время, на нынешнюю ночь, ведь он сросся, сроднился с игроками, он вкусил сладкого яда, он еще вернется сюда, господа, и будет играть, но это будет завтра, а сегодня надо спать, спать, спать, и рюмка коньяка на ночь не помешает, – и он не видел, как, когда он выходил в дверь, высокий и худой, расстегнув на сей раз не белый, а черный смокинг, качаясь от бессонья, возбуждения, усталости, вымотанный, отмщенный, победный, – ему в спину смотрел Зяма, по прозвищу Лангуста, тяжело и угрюмо.

Митя сел в машину, проверил, все ли на месте. На месте было все. Никто в машину не влез. Влез бы – угнал, весело подумал он. В голове у него шумело, как от шампанского. Он отыграл перстень у Лангусты, ура! Ура-то ура, да вот только что это у него так руки дрожат?!.. Он не мог совладать с дрожью в руках, в пястьях, в коленях. Будто тяжелая каменная плита навалилась на его грудь, давила его, и сердце билось так безумно, как у подранка. Ему надо ехать, ехать скорей домой, сдвинуться с места! О, Боже, что это с ним... зачем это, прочь, не надо...

На него с обеих сторон машины, сквозь стекла, уже чуть тронутые хрустальной кистью мороза, глядели бледные холодные мертвые лица. Слева – Анна. Справа – Голицына. Он задрожал сильнее. О, да он как коньяка хватил. Нет, пока они играли с Лангустой в карты, никто не приносил им за столик никакого графина с коньяком. Это все табак, он надышался табаком, нанюхался. Анна слева глядела печально и строго, белое ее лицо светилось кружевным льдистым покоем, холодом звезд. Он отшатнулся от стекла. Он понял – она прощала его. Старуха справа источала грозный ужас. Митя сощурился, дрожа, всмотрелся в старухин фас. Она чуть повернула голову. Улыбка, злобная, издевательская, страшная, прорезала ее щеку, будто рана. Митя шептал про себя: сгинь, пропади, это бред, я брежу, я переиграл, перекурил, перепил, пере-все-что-угодно, зажигание, газ, вперед, вперед, кати, олух царя небесного, заигравшийся шкет. Его рука, с изумрудом на пальце, дьявольски крепко, до побеления, вцепилась в руль.

Он рванул с места. Машина странно содрогнулась, покатила по асфальту. Он выехал на ночную Тверскую, завернул на Никитскую. Ему под колеса бросился живой комок грязи и старых ободранных тряпок. Замерзший, гревшийся где-нибудь на корточках у яркого мрамора метро и выгнанный оттуда бомж метнулся ему под машину. Митя еле смог направить «мазду» в сторону, его потрянуло, прижало к дверце. Скосив глаза, он увидел слева все то же печальное белое, как густо напудренное, лицо мадам Канда. Послать все это куда подальше! А эти... шапахаются по выжженной морозом, лютой Москве... забиваются во все теплые дырки, прячут носы в рукава, греют руки дыханьем... и запах от них, запах, запах... А он сейчас придет к себе домой, в высотку на Восстанья, заберется под пушистый плед, засунет в рот кусок хорошей семги, семужки...

Его передернуло. Как железно, жестко передергивается затвор. Ах, Митя, ты не подумал только об одном. Тебе не мешало бы в Москве, в этой каменной зоне с каменными высотными вышками, с солдатами-снайперами, что прячутся на шпилях и башнях, выслеживая цель, купить себе, любимому, в подарок хороший револьвер. Ты об этом, мальчик, не подумал. А ведь у этих чертовых сытенных мопсиков, у Боба и Зямы, наверняка в задних карманах стильных брюк от Валентино заткнуты отличные пушки. Ничего, он себе тоже пушку купит. В любом фирменном оружейном салоне. А еще лучше с рук. Поспрашивает завсегдатаев «Зеле-

ной лампы». Старые револьверы надежнее новых. Смазать маслом – и не нарадуешься. И – в десять очков. И – в это белое лицо, что мотается, маячит за стеклом, покрываясь колким мхом мороза, иглисто-острым инеем, звездчатым кружевом замогильного куржака.

Он гнал машину по Никитской. Миг, другой! До Кольца осталось так немного! Переехать его – и дома... И глядеть, глядеть, до звона в ушах, до рези в глазах, до одури, на картину, на избородженное молниями черное небо и на золотые плоды в темной листве.

У Никитских ворот перед ним замигал светофор. Желтый свет, красный... Митя нажал на тормоз. Машина не останавливалась. Он жал и жал. Не останавливалась! Он, судорожно искривившись, прикусив губу, схватился за ручной тормоз. Чуть не въехал в стоящий перед красным светофором «мерседес». По его подбородку из прокушенной губы текла кровь. Он проскочил дальше, дальше. Ему не удалось тормознуть. Машина ехала неудержимо, двигалась сама по себе. Теперь она не остановится. Она въедет прямо в бешеный, сплошной железный поток Садового кольца. И его сшибет, расплющит, разорвет в клочья стальная оголтелая машинная стая. Вот она, расплата твоей жизнью, Митенька. Вот она!

Его глаза метались. Его лицо было все залито потом. Он открыл на ходу дверцу. Не сработали тормозные колодки! Они или стерлись, или сожглись, или... «Или их вынули», – произнес насмешливый холодный голос внутри него. Вынули чьи-то чужие шаловливые ручонки. Садовое, гудящее и дымящееся шумом и грохотом, выхлопными газами, морозными искрами, зелеными, как его изумруд, огнями такси, красными маками сигналов, ослепительными, как киношные софиты, огромными фарами, приближалось. Шевелящаяся железная река. Сейчас она поглотит его. Убьет. И его растерзанный, весь в крови, труп не будет нужен никому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.